
Часть первая

В Соловках

Последний собор

Тихо... Жутко тихо...

Один, другой, третий..., — отсчитывал в чугунную доску удары привратник обители святых Зосимы и Савватия, — четыре, пять...

На одной из башен в оконце выглянула странная фигура в черном полумонашеском одеянии и с бердышом в руках.

— Эге. И полночь недалеко, — вслух подумал полумонах-полувоин. — Чай, скоро и смена. Не всю ночь стоять, так, помилуй Бог, и задремлешь.

«Преподобные отцы Зосима и Савватий, молитесь Бога о нас», — послышался сторожевой певучий оклик с одной башни.

«Святителю Германе, моли Бога о нас», — отозвался Ивашка. И снова жуткая тишина ночи...

Ночи! Но так светло, что можно думать — сейчас серый северный полдень, а не полночь.

Только пустота и безмолвие многолюдного монастыря, всегда оживленного, наполненного работающими монахами и мирянами, казались странными для полудня.

Но мы забыли, что мы на севере, близком к области «вечного» полярного дня, не заходящего целые месяцы солнца и долгой, многомесячной полярной ночи.

Правда, здесь еще нет настоящего полярного полугодового дня, но все же бывает месяцами, что ночи белее дней.

Такое время было и теперь.

Все молчит... Бледный холодный свет невидимого ночного солнца освещает громадный неуклюжий гранитный пятиугольник, опоясывающий монастырь. С этими стенами в три сажени вышиной, в шесть сажен толщиной Соловки кажутся

неприступной крепостью. Мрачно возвышаются стены. Неровные, с выступающими углами камней, с узорами зеленого бархатистого моха в промежутках. Серые, с выглядывающими из обледеневших неправильных бойниц пушками, с круглыми остроконечными башнями, торчащими то тут, то там, как щетина у ежа, своей массивностью, громадой и отрицанием архитектуры они производили впечатление естественного награждения скал, особенной, несокрушимой твердости.

А там, внутри, под защитой этой «великой стены» укрылся и сам монастырь, еле выглядывающая крестами невысоких церквей.

Сейчас, как мы сказали, пусто. Монастырь спит...

И в холодных лучах полноточного солнца обитель принимает пустынный, какой-то призрачный, мертвенный вид.

Маленькие деревянные келейки сбились в кучу в одном месте, и сердитый северный ветер намел вокруг них сугробы, совсем занес снегом. Крошечные волоковые окна только и говорят о том, что тут жильё.

Ярко искрится, блестит снег, переливается свет в роскошных по тому времени *стеклянных* окнах собора. Чуть-чуть виднеется из глубокого сугроба крест на могиле Авраамия Палицына, приютившейся возле стены громадного каменного собора.

Горит неугасимая лампада в часовне святителя Германа, около его гробницы.

Тихо, невесело... Только церкви, низенькие, простые, с колоннообразными, прямыми, уходящими вверх колоколенками, с круглыми приземистыми куполами, такие красивые, изящные, сообщают Соловкам известную приветливость.

Невесело в монастыре, а за стенами и вовсе жутко. Пустая белая равнина, однообразная, холодная, неприветливая. И по этой равнине, как могильные памятники, раскинуты обгорелые стога, развалины келий, сожженных жестоким стрелецким головой Иевлевым, осаждавшим монастырь два года.

Караульные в башнях стоят молча и нет-нет перекинутся своим кличем-молитвой.

Морозный воздух чист и прозрачен, и далеко видно с высоких башен. Невеселый пейзаж...

И невесело думается труднику обители Ивашке Дмитриеву на башенной вышке.

Тяжело... Девятый год осаждают обитель никониане; нудят принять новые порченные книги. Девятый год ни входу, ни выходу. Уже два воеводы сменнлось, Иван Мещеринов — третий. Плохо приходится инокам, сидят в монастыре, а в мир нечего и думать пробраться — сторожат, окаянные. И угодников не срамятся.

Намедни из пушек палили... и сколько страху натерпелись. Надругались Велиаровы слуги над святыней — одно ядро попало в Самого Спаса. Другое около могилки святителя Германа разорвалось.

Да, трудно... Сколько перемерло от болезней всяких.

Очень мучит и дозорная служба. Стены нельзя оставить без призора ни на минуту, и многим приходится пропускать церковные службы.

«На Рожество к заутрене сходить и то не довелось, стоять пришлось черед, — с горечью припомнил Ивашка, — как нехристи какие; в эдакий праздник малый ребенок и тот в церкви, а мы тут!»

Он враждебным взглядом окинул окрестности.

Все вызывает дурные воспоминания.

Вон, прямо перед глазами, там, за замерзшим голубым, испещренным темными грядами чуть выглядывающих из льда скал проливом — Заяцкий остров. Здесь живут летом стрельцы.

А вон, вдали, уже на берегу, такой маленький издали — Сумский острог, главная квартира осаждающей армии.

Он весь как на ладони перед Ивашкой.

Невысокая простая бревенчатая городьба, маленькие деревянные башенки. С полсотни домишек, разбросанных за городьбой. Обыкновенный военный поселок середины XVII столетия — просто плотно сбившаяся в кружок кучка крестьянских изб. На вид совсем не внушительная крепость.

Да. А сколько беды для монастыря вышло из этой игрушечной крепости.

Дмитрий вдохнул и, скользнув по зеленоватому сверкающему простору замерзшего моря, отвел взгляд в другую сторону.

Зазвонили в било. Двор вдруг оживился потянувшимися отовсюду черными тенями.

«Полунощница, — подумал Иван, но тотчас поправился, — нет, полунощницу, которые старики, читают в келье, а тут идут все. А, да ведь сегодня собор».

Да, верно. Это собирались из келий *на последний собор*.

* * *

Трапезная стала быстро наполняться иноками.

Вот тихо, еле шагая, опираясь на посох, пришел больной ногами игумен Никанор.

Следом за ним шел старец Макарий, маленький, худенький старик со строгими и пронизательными глазами.

Кучкой прошли мирские люди с сотником Самуилом во главе, но их было немного: нельзя было покинуть стены.

В рядовой толпе выделялся своими мистическими, полными вдохновения глазами свещевозжигатель Конон, тот самый, что года два тому назад видел во время первого приступа к обители, когда у самой гробницы чудотворца Германа разорвалось ядро, святителя Германа, который «будил» Зосиму и Савватия «суда праведного просити на обидящих, иже им покоя и в земле дати не терпят...»

Строго и ласково в одно и то же время смотрели со стен темные лики угодников. Толпа молчала и тихо ждала, когда кончит свою речь Никанор.

Почти беззвучно, тихо положили начал.

Он говорил тихо, но в мертвой тишине было слышно и его.

— Собрал я вас, други, вот пошто, — начал Никанор.

— Явился средь нас иуда. Фектиска бежал, и, слышно, все с воеводой... Слышать, ищут они места, как к нам пройти, яко тати, нощию... Може, и пройдут. И тогда нам гибель.

Что скажете: может, кто, страха ради Ваньки Мещеринова, уйти хочет, так уходите... Бог простит. А то будете жалиться на нас после Богу... Ну?

Шум пробежал по собранию.

— Куда нам идти... Умрем около угодников...

— Не отдадим обитель, Германову могилку...

— Ну, ин так.

Из толпы послышался чей-то взволнованный голос:

— Не предаст Господь... Не даст могилку святых на по-



Собор в Соловецком монастыре

срамление... И сам-то государь уже от света отходит... Косою смертной посекается...

— Это ты, Дмитрий, — остановил взволнованного инока Макарий. — А ты помолчи... Царю да даст Бог здравия. Мы ему не супротивники... А коли умрет, — царство ему Божье.

— Вот, вот, — снова начал игумен. — И еще дело... Есть, братие, и между нас супротивники. Снова головы подняли те, что за царя молиться не хотят. Паки свою прю поднимают: не хотим, говорят, за того молитвы возносить, кто в Спасов образ стрелять велит. И им надо дать ответ. Что скажете? А я, грешный, тако мыслю, что за потворство новшествам никоновым царь Богу ответит... И суда Божьего он стоит близ... А наше дело — за владыку нашего молиться по смерть нашу... Таков мой сказ. Добро ли? Так, что ли?

— Так, так...

— Сказать, чтобы такие уходили лучше... Нет от них и угодникам заступы, — послышались голоса.

— Ну, и спаси вас Христос... Так и будет...

— Так разойдитесь же, братия, с миром. Господу молитесь! Сохранит Господь, — Его воля... Предаст в руки бесстыдных¹ — и то добро. И о том скорбеть не будем, коли кости наши будут растерзаны и влачimy по земле псами и птицами небесными.

Хорошо и так: приятно нам и на земле будет лежать, светом одеянным и небом прикрытым: и небо наше, и земля наша, и свет наш, и всю тварь Бог нам дал. Когда еще в древние времена великий ангел Алтез восхитил Авраама выспрь, т.е. на высоту, к Богу, и показал ему «вся от века сохраненная», — так было угодно Богу. А теперь, думаете, изнемог Бог? Нет, нет!

И вам даст обитель у себя, коли за веру пострадать суждено...

Старый архимандрит остановился:

— Только вот святыни жалко. Все разграбят, да осквернят воры, — тихо прибавил он после небольшого молчания.

И обвел круг слезящимися старческими глазами, точно предвидя грядущее разграбление...

Иноки и стрельцы тоже молчали: они мысленно хоронили обитель...

¹ Студ — стыд. — *Прим. ред.*

— Ну, помолимся... Maybe, в последний раз, — повернулся к инокам архимандрит.

А в это время иуда Феоктистка с Мещериновым шарили по стенам, отыскивая входы.

Но светлая полярная ночь хранила обитель, чтобы еще раз дать инокам время освятить на праздник Богоявления ледяные воды залива, которому для многих суждено было стать могилой.

Час был близок, но еще не пришел.

В Москве

Ночь в тереме

Крещенье выдалось морозное, ясное. Точно серебро, искрился снег на белых улицах, когда по звону «в четверть часа дни» (в 7-ом часу) народ потянулся сначала к Успенскому собору, а потом к Тайницким воротам, у многих побелели и щеки, и уши.

Но москвичам не привыкать стать к морозам.

На то и Крещенье, чтобы тем, кто «бесовския хари» надевали, жарче было в ледяной проруби.

Редко видела Москва такие толпы народа, как на Крещенье.

Приезжали и из иных городов — из Богородска и даже из Калуги — посмотреть на «большой наряд».

Около «получасу дни» наконец открылся самый крестный ход: издалека было слышно, как царские певчие гремели: «Глас Господень...»

Ход «зачинали» стрельцы — сотни четыре-пять. В цветном платье шли они по четыре человека в ряд, с золочеными пищалями и винтовками, с золочеными копьями и протазанами.

За ними шло духовенство: одутловатый патриарх Иоаким, с «лисьими», как говорили о нем, глазами, в богатейшем саккосе, а за ним митрополит крутицкий и остальное духовенство.

Два соборные священника наблюдали за порядком хода. За духовенством, немного отступя, следовал царь со своею нарядною свитою — по три человека в ряд.

Впереди шли дьяки и те служилые люди, которые были в бархатных кафтанах; за ними дворяне, стряпчие, стольники в золотых кафтанах и, наконец, ближние люди в богатых шубах. Сам государь шел в «большом царском наряде».

Сверх зипуна и богатейшего «станового» кафтана на нем было царское платье из дорогой золотой материи, с жемчужным кружевом, усыпанным драгоценными камнями.

Царский венец блестел, переливаясь алмазами и яхонтами. Плечи государя покрывали светлые бармы. Золотой крест на золотой цепи сиял на груди. В правой руке он нес жезл, украшенный золотом и камнями. Двое стольников поддерживали государя под руки.

Сильно постарел Тишайший. Правда, он остался по-прежнему или даже еще более тучным, но тяжелые морщины залегли на его лбу. Глаза, когда-то такие ясные, потухли. Руки заметно дрожали. Тень не то скрытой боли от «неладного сердца», не то от душевного разлада лежала на лице и так не шла к его простоватому облику.

У Тайницких ворот ход остановился. Здесь и была иордань. Высокая красивая сень на четырех колоннах, с расписным карнизом и золоченым крестом наверху, стояла сажень в двух от берега. По углам сени находились изображения евангелистов, а внутри — апостолов и Крещения Господня.

Пестрые «райские» цветы из шелковой материи и жести, зеленые листья и птицы, вырезанные из меди, делали сень похожей на какую-то не нашу, восточную постройку. Невдалеке от сени сияли золотом царское и патриаршее места.

Царское место было особенно затейливо и красиво: это была круглая сень на пяти столбах, с пятью главами, украшенными золочеными крестами. И внутри, и снаружи она отделана резьбою, расписана красками, серебром и золотом. Рамы с слюдяными окнами между столбами заменяли стены. Одна из рам с райской птицей Сирином на слюде служила дверью.

Все пространство около сени было покрыто красным сукном. Еще ранее хода к иордани прибыли келари, чтобы «припасть». Они разместили на трех аналоях иконы и утварь: на среднем положили крест и Евангелие, крест — «на мисе», на

правом — иконы Предотечи, Николы Чудотворца, на левом — Влахернскую Богоматерь и московских чудотворцев.

Четыре соборных диакона очищали лед на иордани сеткою, обшитою красным сукном.

Патриарх и царь остановились на своих местах. Патриарх осенил народ, раздал всем свечи и начал водоосвящение по чину.

Царь, весь отдавшийся молитве, немного просветлел. Но вот он снова нахмурился.

Наступило время погружать государевы свечи, и Иоаким, следуя новому Чиновнику, опустил этот любимый царем момент. «В Служебнике, мол, не показано».

Царь, однако, был видимо недоволен, и когда, по окончании чина, патриарх, по обычаю, почерпнув воды серебряным ведром, наполнил ею государеву стопу для дворца и здоровствовал государю, тот подошел к патриарху с немилостивым ликом.

«И что им эти свечи помешали», — досадливо думалось царю.

Царь сел в сани и, пользуясь тем, что духовенство еще было занято окроплением «бояр и людей», подъехал к проруби совсем невдалеке, где очищались оскверненные машкерами.

Быстро раздевались бедные грешники и с криком кидались в прорубь.

Толпа хохотала и не пускала тех, кто, обожженный ледяной водой, хотел выпрыгнуть, окунувшись один раз.

— Не... Толкай его назад. Ишь он какой!

Царь, остановившийся на минуту, улыбаясь смотрел на зрелище.

Забава была по его вкусу. Недаром он любил купать своих стольников в дворцовом пруду. Даже потускневшие глаза загорелись снова.

— Царь-батюшка, — окликнули его неожиданно. — Тишайший недовольно оглянулся.

— Кто это там?

У саней царя кто-то опустился прямо в снег. Звякнуло железо: вериги.

— Лаврентий... блаженненький... — Царь с досадой поморщился.

— Хо-о-лодно...

— С чего тебе холодно-то стало?

— Не мне, царь, батюшке Зосиму, Савватию холодно. Смилуйся, царь. Поди, чай, у угодничков вор молитвенников твоих в проруби топят, а ты чего смотришь?

Смилуйся, царь. Тебе, вишь, самому жить-то уж немного: последний, небось, раз на иордани. Не дай угодничков в обиду... Согрей их... И душеньке твоей будет прохладней.

Блаженный бил поклоны, звеня веригами.

Царь, сердито нахмурившись, быстро опустил в сани и приказал ехать.

Ночь. Не спится царю Алексею, Последние годы вообще плохо ему спится.

Врач немец предостерегает его не волноваться и не гневаться, а то, вишь, можно умереть в одночасье.

«А как тут не гневаться? Вон, снова блаженненького подучили...», — думал царь.

И остановился: нет, его не подучишь.

А что он говорил бишь: «Спаси от вора. Всех молитвенников твоих перетопит...» Это он о Мещеринове.

Мысли царя начали путаться. Подходил сон. Но вот снова часто-часто заколотилось сердце.

Ему почудилось, что кто-то стоит в темном углу его опочивальни, около черного резного письменного стола.

Два старца в темных одеждах, строгие, гневные.

«Зосима с Савватием, — думается царю. — По душу мою пришли».

Кто-то заговорил вблизи.

Они это — старцы? Или что-то в совести говорит внутри?

— Не тронь обитель нашу, царь. Не давай надругаться над твоими рабами... Могилку святого Германа побереги... А не хочешь, судиться с тобою будем у Вышняго...

«Что это мне чудится, — перекрестился царь, — недужится нешто?»

А беспокойная мысль снова заговорила:

«Господи! А ведь вправду, поди, в самую святыню стреляют, как нехристи...»

Алексей хотел встать, но сон одолевал его.

«А Мещеринов-то, воистину вор. Отозвать бы его», — мелькнула последняя мысль.

И царь заснул беспокойно и тревожно.

В тайге

Темень такая, что хоть глаз выколи.

Не видно собственной руки. На небе ни звездочки. Впрочем, пожалуй, здесь темно и днем.

Даже полуденное солнце разве чуть-чуть может осветить эту непроглядную чашу.

Прорваться через стену вековых сосен, уходящих вершинами туда, к звездам...

Бывают места, о которых говорят: «сюда и зверь не забегает».

Кажется, здесь одно из таких мест. И все-таки сюда забрел не только зверь, а человек.

Кто-то шагает мерными утомленными шагами по крепкому снеговому насту.

«Господи, Господи... Видно, конец... Позвать разве... Но кто откликнется здесь?»

Однако отчаяние хватается за соломинку. «По-мо-ги-те», — хрипит чей-то надорванный, измученный голос.

И замирает.

Лесной шум заглушил бы не только этот безнадежный крик, но и гром мещериновских мортир... Только ветер воет в ответ.

«Господи, не дай умереть без покаяния!» — и с последними усилиями пробует двигаться среди бездорожья и сугробов.

Он идет уже безсознательно — без дум, без надежды. «Не дойду...», — одна эта мысль вертится в мозгу, но и она уже мертвая. Душа ее не слышит.

Уже две недели идет из монастыря наш знакомец, Ивашка Дмитриев.

Вскоре после Крещения послали его с грамотой к сильным людям на Москву.

«Авось-де выручат — Хованские или Урусовы». И все шло хорошо. Удалось миновать Заяцкий острог. Пройти через заставы. Выбраться к Поморью. Но дальше невесть как сбился с дороги — в диком Каргополье. Вот третий день среди лесу и не может выйти хоть на волю. На свет. Как Бог уберет от зверя — и сам Ивашка не знает.

Хорошо, что до вчерашнего дня ночей не было; светлее дня: хоть и в тайге, а немного видать. Ну, а со вчерашнего дня смерть. Темно. Да и в глазах потемнело. Сил уже нет.

Вот ноги, двигавшиеся как колеса машины, отказались служить.

«Отдохнуть надо», — мелькает мысль, но Иван Дмитриев чувствует, что остановка — смерть и снова собирает всю волю, чтобы идти, идти и идти...

Однако всему бывает конец. Знобит... И хочется спать. «Нельзя, нельзя!» — кричит кто-то в уши. Но сон побеждает: «Усну...»

И путник опускается лицом вниз на белый снег... Чей-то резкий вой прорезал воздух между двумя волнами лесного шума — и замер... И лес исчез...

«Светло стало... Хорошо. Где он? Да, конечно, дома, в обители».

Он по-прежнему настороже... В стене. Только не одни миры на стенах. Все старцы здесь... Темные лики иноков двигаются по стенным проходам. Вон Никанор кропит святой водой стены и башни...»

(Ивашке грезится страшное 23-е декабря).

Точно рыдание, несется молебное пение.

«Кажется, древняя священная обитель отпевает себя живо и кропит свою собственную могилу».

И еще печальнее пения отвечает эхо древних стен.

«Зачем это стены обходят, — думается в бреду Ивашке. — Ах, да, сегодня воры *идут* на обитель. Вестовщики сказали, что Мещеринов решил идти приступом.

Да вон уже видно их передовых. Идут... Близо».

«Вот на море, на голубой поверхности залива тихо покачиваются суда. Кровавым пятном горит на солнце красный

флаг воеводского судна. А еще ближе, по берегу, краснеют целые кровавые полосы: это красные кафтаны стрельцов, которые, переняв у немцев некоторые воинские хитрости, шли нога в ногу, поблескивая ружьями. Впереди несут тяжелый зеленый стяг с золотыми кистями. За ними медленно двигаются, скрипя и покачиваясь в воздухе, какие-то чудовища вроде виселц на толстых колесах: то тараны — стенобитные орудия, которыми предназначалось разбить в щебень стены, сложенные когда-то руками самого Филиппа, свяителя московского, во время его печального изгнания.

За таранами чернеют пушки, которые стрельцы везут на себе лямками. Под зеленым стягом грузно переваливалась массивная фигура, сверкая шлемом и кольчугою: это был сам воевода, холоп его пресветлаго царского величества Ивашка Мещеринов» (Мордовцев).

«А вон бритые... Этого толстого Ивашка знает: это Келен — майор. А тот, рядом — Буш, ротмистр. Немцы все», — лумает Ивашка.

Однако разглядывать некогда: надо готовиться к встрече.

«Ну, с Богом, наше дело сделано, — говорит Никанор. — Делайте, что Бог укажет... Пойдите за угодничков. А наше дело помолиться да поплакать за обитель. Чтобы поменьше погибло душ христианских...»

Колыхаясь и сверкая золотом, двинулись со стен «святоści»: хоругви и иконы. Опустились стены.

Там, в соборной церкви, возносятся молитвы.

«Как, чай, старец Макарий молится, — думает Ивашка, — святой старец!»

А наверху гремят выстрелы, отражаясь кровавыми пятнами на сером фоне неба.

Стоны раненых мешаются с ревом гранатных пушек. Шумят, как враны, что летят стадом.

Ивашка и все остальные испуганно следят за работой новых пушек, сделанных «хитрецами» Мещеринова из дерева.

В обители уже знают, что «ова из них вмещает 190 ядр, ова 290, ова 390, начиненных порохом».

Плохи, однако, хитрецы. И плохи и их деревянные пушки. Вот заряд первый рассыпался, не долетевши до стены.

Другая... Где-то далеко за обителью шумят с шумным «скрежетом и хлопотанием огня и пушек» взрывающиеся ядра.

Третья... Теперь стаей воронов кажутся над обителью... Вот они над крестом соборной церкви, но нет, пронес Бог.

«Дух некий дуну от церкви и расточу оных (врагов) вне монастыря». Только два ядра упали среди стены и одно у самой гробницы св. Германа.

Зато простые пушки стреляют лучше. Вот, слышать, одно ядро в Спаса попало.

Утихает приступ.

Ивашка видит, как сотники Исачко и Самко, раздраженные обидой Спасу, сбрасывают со стен лестницы с насевшими «ворами». Последние крики и стоны.

А что это там? Точно звон какой. Зачем звонят... В соборе что ли?» Вот чья-то пуля, должно, пришлась на Ивашкину долю. Острая боль в руке заставила его очнуться.

Он поднялся на локоть. Ничего нет: ни обители, ни Келена, ни Буша.

Только шальной волк, одиночка, напуганный тем, что мертвый встал, отбежал в сторону. Он спас нашего путника.

Ивашка снова очнулся и огляделся кругом.

Откуда-то в самом деле звонили... Слабым глухим звоном.

Ивашка поднялся и снова пошел. Вот и околица. Чья-то изба, огонь. Он стукнул раза три железной кочелдой и упал около калитки.

Конец Соловок

В келии игумена

А Ивашкиной обители наступал конец. Кончились светлые ночи. И новыми глядят Соловки.

Огромные стены обители закрыл, облепил густой темной массой мрак. Ничего не видно. Кажется, отойди на три шага от стены и опять их не найдешь, темнота обступила, накрыла

все кругом, как темным колпаком покрыла все, даже белый снег под ногами — и тот еле виднеется.

А монастырь совсем невидим — ничего: ни церквей, ни келий, ни хлебов, будто стрельцы успели уже разрушить все.

Не оставили камня на камне, но кое-где светит огонь.

Не спят. На полунощнице, должно быть, встали, хоть и рано еще.

И в келье архимандрита Никанора слабомерно светит привезенный светец, что привезли аглицкие купцы.

Красным пламенем горит лампада перед образом.

У отца Никанора, который только что читал какой-то длинный свиток, — гость.

Ризничий чернец Вениамин, еще не очень старый, высокий инок. Он, видимо, только что вошел.

— Что читаешь-то? Все послание батюшки Аввакума?

— Да... Думаю, конец наш пришел. Ко времени его послание-то. Хорошо написал. Усладительно.

— Правда... Правда... Ну-ка прочти-ка. Истину говоришь, что ко времени. Смертушка ждет. Чую и я.

— «Всем нашим...», — начал Никанор сквозь слезы.

— «Всем нашим горемыкам миленьким на Соловках, протопоп Аввакум, раб и посланник Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, благодать вам, отцы и братия, и чада, и сестры, и дочери, и сущие младенцы! Прослышал я здесь, сидя на чеши в земляней яме, что вы, яко подобает воинам Христовым, ратоборствуете добре супротив проклятых никониан, — честь вам и слава, стрельцы Христовы. И Никанорушка — свет архимандрит, осквернив и себя (временной изменой в 1667 г.) ныне, чу, кровию омывает пятно то с души своей. Спаси Христос, свет Никанорушка».

Никанор некоторое время не мог продолжать от слез.

— «Молю всех вас, страждущих о Христе, кричу к вам из ямы моей, — продолжал он оправившись, — из сени смертной, руце мои простираю к вам из земли, из живой могилы, в ню же ввергоша меня сатаны сыны; молю с воплем и кричанием, откликнитесь, светы мои миленькие: еще ли вы дышите, или уже сожгли вас, что лучину Христову, или передавили, или в студенном море, что щенят перетопили? Нету, чу? Дай-то Бог. А коли

нету, — именем Божиим заклиная вас: претерпим зде мало от никониан, претерпим и кнут, и огонь, и костей ломание, претерпим миг единый смертный, яко молния краткий, да Бога вечно возвеселим и с Ним вместе возрадуемся. Ныне бо в зеркале гадания, тамо же, за гробовой доской, за костром, за виселицей, лицом к лицу Его, Света нашего, узрим.

Ныне нам от никониан огонь и дрова, земля и топор, нож и виселица, могила без савана, похороны без ладану; вместо пения «плачу и рыдаю» — кричание и рыдание секомых и пытаемых, вопление жен и детей, гугнение урезанных языков; там же ангельския песни и славославие, хвала и радость и честь и вечное ликование в царских венцах. Яра ныне зима, ох яра, студена, но сладок тамо и тепел рай; болезнено терпение, но блаженно восприятие...»

Никанор пропустил страницу.

— «Приношу вас и себя в жертву Богу живу и истинну, Богу животворящему мертвые и сожженные в золу, — снова зачитал он. — Сам по ним аз умираю и вам того желаю. Станем же добре, станем твердо. Аще не ныне, умрем же всяко, а из нас, что из зерна горушна², выростут тьмы тем. Помяните первых христиан. Ныне что! ныне — игралище, шутки, широкая масленица нам: нас жгут и вешают в одиночку, а тогда, светы, посекали секирами во главу по сороку тысяч, топили в озерах по полутретьи до четырех тысяч, жгли без числа, сто тем верующих. Тако и из нас. Сожгут одного из нас, — что золы-то выйdet! А та зола, светы мои, семя новое; сколько золинок праху сего от сожженного тела пустят по свету, столько новых верных вырастает из тех малых золинок. Отрубили у кого голову — ино та голова зерном стала, и отродится то зерно из могилы сам-сот, сам-тысяч: ни едина рожь так не родит, ни ячмень, как голова мученика. Это верно, други. Посеки один дуб, — ан сто дубков пойдет от корня. Так-то! Вон меня еще не посекали, я еще расту, старый дуб, а из меня уж вырос во какой молодой дубок...»

— Зола... Кабы и от обители не осталась одна зола, — скорбно проговорил архимандрит.

Оба старца задумались. Предчувствие конца задело обоих своим темным крылом.

² Горушица — горчица.

— Не смерти боюсь... Дьявола, клеветника искони боюсь... Того, что облают наше дело... Ворами распишут дьяволы изографы.

— Думаю я, чего-чего не плели Васька Кириловщин али Матвей, али поп Митрофан. Чтобы шкуру спасти — мучениками себя выказать. Геронтий и Мамасия еще ничего, а Митрофан-то да Васька сумеют. Вон Игнашка, что с Заячьего Прибега, рассказал: Васька-де плетет, что Никанор пятый год и Тайну не приемлет...

— Это, ведомо, наговорят, — вмешался Вениамин. — Все свое из нас сложат... Так повелось...

— Верно, что повелось, да скорбно. Не своими силишками, нищенские мы, а силой Господней все ж мы были миру в свет. Что доброго, коли наши дела да молитвы на дьявольский лад растолкуют да оболгут...

— Вишь ты, не приобщался пять лет, — а чем я жив, как не Христовым Даром?

Тревожный стук прервал речь.

— Логин, ты... Что, али неблагополучно? — в один голос тревожно вскрикнули два старца.

— Нет, ничего... А только обеспокоен я... Сном обеспокоен.

— А мы думали... Что же за сон?

Логин начал не сразу. Собрался с силами: он был, видимо, очень взволнован.

— А вот, отцы... Уснул я и сплю крепко... Вдруг слышу, коснулся кто-то до меня. Слышу: «Логин, встань, что спиши. Воинства ратных во град будут скоро».

Встал я, перекрестился: никого нет. И снова уснул. Потом опять будит кто-то. Опять те же речи. И так трижды:

«Вошли-де воинствующие уже во град». Пошел я на стены. Все, как [надо] быть. Стерегут бодро, и нигде шуму ратного не слышать.

Однако вот пришел вам поведать.

— Да, сон дивный. Нужно собраться с братией помолиться. Вели, Логин, бить в било...

«..Бяше полунощия и собравшаяся в церковь, Господу Богу, Богородице Владычице и преподобным чудотворцем молебен с теплейшими слезами совершиша, послед же полу-

нощницу и утреню отпеша и утру глубоку обдержашу разыдошася по кельям».

Разошлись все тревожные и беспокойные: беда висела в воздухе.

Падение обители

И она пришла...

В то самое время, как Никанор беседовал с Логином, Иуда-Феоктист с майором Келеном и 50-ю стрельцами ломали слабо заложенную стену — от храма Онуфрия Великого к Белой башне — на месте старого прохода из сушильной палаты, через который раньше носили в эту палату воду.

Пробив проход и сбивши замки у городского тайника, стрельцы оказались сразу внутри святой обители.

Защитники обители бросились к пролому.

Но их было мало... А в ворота входил уже Мещеринов. Скоро тридцать трупов лежало друг на друге горкой у церкви святого Онуфрия. Впереди всех лежал Логин с проломленной бердышем головой.

Силы были сломаны. Отчаявшиеся защитники очень немногие числом кинулись по кельям.

А за ними шла смерть; 3—4 инока из «недовольных», спасая жизнь, вышли с иконами навстречу победителю.

Мещеринов шел в соборный храм служить молебен.

Дым от продолжавшихся выстрелов окутал обитель серовато-кровавым туманом.

Все было кончено...

Стрельцы бродили по кельям, забирая спрятавшихся иноков и что попадет под руку.

— Старцев не трогать! — распорядился воевода. — Сковать и беречь крепче...»

После предатель Феоктист в своей челобитной царю Феодору разъяснил, почему в этот день Мещеринов оказался таким милостивым. «Оставил бельцов и чернецов, смотря

по животам, — у кого денег больше», — пишет он о следующем дне.

Значит, вперед нужно было сделать разбор, а теперь Мещеринов торопился в монастырскую казну, «суд» он отложил на завтра. Ночь кончилась.

А в это время, точно кровавое зарево, разгорелся над монастырем чудный свет.

На черном невидимом небе вспыхнуло зарево, яркое, кроваво-красное.

Что это? Не подожгли ли обитель пьяные от крови, а может быть, и вина стрельцы?

Обитель освещена по-прежнему только случайными выстрелами да лампадками у икон.

Это свет не от земного огня. Солнце? Нет и не оно.

Север хоронил свою обитель радужным сиянием: он хотел осветить ярким светом мученичество «свободных душ».

А зарево все разгоралось. Пошли по небу красные огненные иглы. Поплыли кровавые круги, — росли, захватывали все небо. Расплывались, превращались в колонны, арки, колонны снова переходили в круги, снова в колонны, своды... Беспреданно меняя очертания переливающимся красным, по краям переходящим, все бледнея, в голубовато-серебристый, — огнем горело северное сияние.

Все осветилось...

Яркие слепящие лучи погнали мрак с моря и долин... И, освободившись от темной густой пелены, заблестели, заискрились снежные поля.

Вспыхнули вдруг мелкими голубыми огоньками запорошенные снегом одинокие сосны вдоль берега. Засверкали золотые кресты, золоченые купола. Осветились монастырские площади и постройки. И открылись стены, грозные, неприступные стены с земляными валами, с башнями, не смогшими защитить обитель.

Напротив келии настоятеля валяется опрокинутая колода, из которой поили лошадей. Всюду разбросано сено, обрывки веревок. Снег по всему монастырскому двору, затоптан лошадиными и человеческими следами. Около одной башни лежат обломки бердыша.

С дикими лицами бегают озверевшие стрельцы. Вон Никанора провели в тяжелых цепях.

И всюду кровь, кровь, кровь.

Среди своих

Ивашка очнулся поздним утром. Его разбудило негромкое пение где-то вблизи:

...Говорит царь воеводушке,
Воеводе своему Салтыкову:
Ты ступай-ка ко морю синему,
Ко тому острову ко великому;
Ты порушь веру старую правую,
Постановь веру новую неправую...

«Глядикось, уж и песню сложили, — подумал Ивашка. — Но где я? Или снится мне все?»

Он открыл глаза. Пение сразу оборвалось.

Большая, конечно, черная изба. В углу божница со святыней. Стол, покрытый красной скатертью.

Видимо, живут, по-своему, богато, хорошо. Где же это он, куда попал? В уголке за прялкой — молодая белокурая девушка.

«Это, значит, она пела», — подумал Ивашка и взглянул пристальнее на хозяйку. Но не успел он разглядеть ее, как та быстро поднялась с места.

— Мама, пробудился! — услышал наш гость из другой половины избы. И через минуту в избу вошла старуха.

Девушка робко шла за ней.

— Что, как ты ноне? Отошел? — ласково обратилась старуха к гостю.

— Здоров, слава Богу... Только голова вот не совсем... Да где это я? Куда забрел-то?

Старуха замялась: «Что за человек: враг или друг?», — видимо, думалось ей, но большой крест, которым перекрестился Ивашка, поднимаясь, успокоил ее.

Конечно, в этих краях редко увидишь таких, кто крестился бы по-иному. Но все же, ежели бы какой от воеводы для сыску, то был бы прямой никонианин. А это, верно, наш.

— А в Олоньи! От Олонца недалече! Мы здесь таимся. Вон там, недалече — Березов Волок. Чай, слыхал? А ты отколь?

— Из Соловок *иду... На Москву.*

Ивашка говорил с некоторой гордостью, он знал, что такое Соловки для этого края: северный Иерусалим, благодатное место.

— Из Соловок? — взволновалась старуха, — Господи, вот послал Господь! Меркульева Андрея знаешь?

Ивашка тотчас припомнил молодого трудника, учившегося иконному писанию у иконописца Феодора.

— Знаю, как не знать... Знатный изограф!

— Сынок мой...

Старуха видимо оживилась и засыпала вопросами: — Жив ли? Как здоров?

Ивашка отвечал с удовольствием: он был рад, что к родным попал.

— Здоров; не знаю, как дале: скоро, кажись, не устоять обители, теснят... Ну, да его не тронет, чай. и воевода: не воин он. Мещеринов — не Салтыков воевода-то, — улыбнулся он в сторону девушки. — Только, хозяйюшка, надо бы мне помыться, да помолиться... Пойду снежком умоюсь...

— Ах, Господи! Чай, поесть хочешь. Пойду-кошь, припасу...

Через полчаса беседа началась снова.

— Нас вот семья-то большая: семь сынов да дочь. А все в разброде. Из Пскова мы. Теперича не знай, и соберемся ли когда вместе-то. Двое в Москве, в стрельцах: отец-то тоже из стрельцов был. Вот в обители один. Двое в Пскове, один, правда, сюда пришел. Здесь теперь в лес ушел. Один невесть где, слышь, на Дон ушел, А я только с последышем да дочкой.

Дочка вся покраснелась, когда заговорили о ней.

— Ушли со страху, боимся, что веру порушат. Но и здесь тяжко: лес да волки. И не знай, как и жить-то уж: попа годы не видим. Умрешь без покаяния. А еще хуже: вот псковской-то сын говорит и попов-де теперича не надо... Пусто-де свято

место. Антихрист-де пришел... А я, чай, как без попов? Да вон он, идет, кажись...

В избу вошел богатырь лет сорока, с темным суровым лицом и, помолившись на иконы, присел к беседе.

— И не знаю я ничего. Какая такая вера без попов...

— Какие ноне попы, — отозвался «псковской». — Вся благодать рассыпалась. Не нужно при нынешних временах попов, и тайны совершать не можно: мерзость запустения стала... Ныне антихрист на земле, а житие его антихристово ныне, где христианство мучат...

Ивашка разволновался. Он слышал такие речи еще в Соловках и помнил, как волновали они старцев, как отвечали на них Никанор, да раньше его — Геронтий, «соловецкий Златоуст».

И теперь он усиленно искал в памяти их сладких и отеческих слов.

— Не от Бога, мню, мысли эти, а от дьявольского искушения. Попов оскудело, и время тоже злое. Вот и шепчет лукавый: обходитесь, мол, без попа. А без попа — значит без тайны. А без тайны — значит без жизни вечной. Дьяволу ничего больше и не нужно, как от святой тайны отвлечь, потому человек, «не приемляй Крови Госнодней и Тела Его» — смоковница, что обязательно высохнуть должна и годится только для огня вечного. Для его то есть власти.

Ивашка почувствовал, что «Златоустовы» — Геронтиевы слова не забылись, и воодушевился...

— Или не читали, что жертва пребудет до века... Али антихрист Христа будет сильнее и жертву порушит, если бы и пришел?

Да что толковать? У нас есть Аввакум в Пустозерске, в земляной тюрьме гниет... Варфоломей в Печенге — да мало ли? Неужто их тайна — не тайна? Неужто Господь к Аввакумовой жертве попустит врага, и его жертва нечистой станет?

В «мерзость запустения»... Господа вы хулите да праведников наших. Пока жив хоть один верный поп, — как жертвы нету?

— Вот, вот, — поддержала старуха, — одеревенели все.

Вон в Пскове-то, слышь, один мирской на дух принимает.

Крестят сами. Да это еще что: по нужде, мол, можно, а то «на дух»...

Иван Меркульев-пскович хотел вмешаться, но вдруг раздумал.

— Ну, после поговорим, — угрюмо проговорил он и вышел из избы...

— Одервенел, — проговорила его старуха, — а все мучительство сделало, гонение.

Вслед за хозяйским сыном вышел и его тезка, Ивашка Дмитриев. Он был огорчен.

«Вот куда пошло, — думалось ему, — значит, кое-кого и наших Никон осилил. Ему не поклонились, а на новый погибельный путь пошли».

Ивашка понимал, что мысли Меркульевых и ему подобных родились законно и естественно — особенно в этом забытом краю.

В новгородско-поморской земле почва для беспоповщины была готова. Земские люди здесь исстари привыкли жить *без попов*, ограничиваясь мирскою часовенною религиозностью.

В писцовых книгах XVI и XVII веков постоянно означались *дворы поповы* пусты. Мало того, поморские черные волости с XVI века находились под влиянием протестантских идей шведских перебежчиков. Конечно, эти идеи не принимались, отталкивались, но и они могли давать свой осадок и дать свою отрыжку, когда создались удобные условия. В то же время самый домашний быт насельников этого края при таких исторических условиях, при «пустых поповых дворах» и крепком влиянии Соловков, отражал на себе печать своеобразного монастырского уклада: устройство божниц, частое курение ладана, шептание молитвы Иисусовой представляли отличительную особенность этого быта; самый *большак* дома назывался *«настоятелем»*.

Естественно, что во времена гонительные и еще большего «оскудения» попов настоятель постепенно переделывался в беспоповщинского наставника.

Могли явиться и честолюбцы, которым даже чести ради нравилось «принимать на дух». И они старательно «поливали» семена беспоповщинского отпадения.

Ивашка понимал все это.

Но понять — не значит *примириться*.

И Ивашка со скорбью думал о «злом посеве» врага человеческого.

«Отец встанет на сына. И брат на сестру», — подумалось ему.

«А она, — вдруг вспомнилась ему сестра хозяина. — Она, небось, не отречется... От тайны святой не откажется. Вон как горела, когда я говорил Геронтьевы слова...»

И он радостно улыбнулся.

Казнь-бойня ³

В Соловецкой обители день 23-го января был кровавый, безумный день.

Святители Зосима и Савватий, конечно, никогда и не думали, что когда-нибудь их святое место будет осквернено такой бойней. Недаром и солнышко в этот день спряталось за северным желтоватым туманом: не захотело смотреть на дурное, злое дело.

Мещеринов к обеденной поре был очень не в духе: зол и угрюм; причина была простая: у старцев и бельцов — ни у кого он «добрых денег» не нашел и был разочарован. А за монастырскую казну, очень, как он знал, богатую, было немного страшновато взяться. Помнилось дело Иевлева, которому за «грабежи да лихоимство сверху сказано — быть в опале».

Его не утешила даже горькая английская водка, купленная у аглицких купцов, — хоть и хорошая была водка. Подлинно «огонь». И зовут ее, слышь, «огневой»...

³ Не совсем легко решить, когда был суд: в раннее ли утро того же дня, когда была взята обитель, или же в середине наступившего дня. Так как, по «Сказанию об отцах и страдальцах Соловецких», вторжение в обитель произошло, «когда уже заводилась заря» и после вторжения Келена Мещеринов «долго не смел в обитель внити», а о Никаноре сказано, что он мучился, борясь с мразом *всю ночь*, и умер *перед* «озарением дневного света», то трудно думать, что ночь смерти Никанора была ночь взятия обители. Войдя в монастырь уже утром, Мещеринов служит молебен, опечатавает казну, затем удаляется в стан. Первая ночь, следовательно, прошла еще до суда.

Злой он вышел на суд. Суд был у воеводы, в его новом стану: в стенах обители.

Ждали, что первым Мещеринов вызовет архимандрита Никанора. Но Мещеринов решил начать не с него, а с сотника Самки, т.е. Самуила Васильева. На него Мещеринов был зол особевно. Из-за него да умерших Логина да Исачки Воронина, так ревностно защищавших обитель, Мещеринов так долго сидел под монастырем и уже дважды получил выговор «за то, что промысел чинит нераздельно», и даже угрозу: «Быть ему, Ивану, в смертной казни».

Самко привели к воеводе под руки: он был тяжело ранен во время вчерашнего нападения, но смотрел он небоязненно и бодро. Мещеринов постарался придать расправе вид суда. Он сел на скамью, покрытую монастырским ковром, и посадил около себя Киршу Федорова «за дьяка», для записи.

— Почто ты сопротивляешься самодержцу и воинство, от него посланное, отбивал от ограды? — начал важно воевода, напрасно стараясь придать своему туповатому и обрюзглому от попок лицу выражение величавости и серьезности.

— Не самодержцу я противился, — отвечал Самуил, — но за отеческое благочестие и за святую Церковь стоял, и хотящих разорить преподобных отец поты⁴ не пушал во ограду.

Этих простых слов было достаточно, чтобы судейская steepенность сошла с воеводы. Он вскочил с места и бросился на Самко с кулаками; но на этот раз удержался

— Бить! — и он махнул стрельцам. Самуила схватили.

— Никанора!..

Воевода еще не отошел и говорил от гнева...

Никанора, «иже от старости и трудов молитвопредстояния многолетних ногами ходити не можаше», привезли на небольших саночках...

Он был спокоен и даже светел: он радовался, что на допросе все скажет, и хотя знал, что Мещеринову его слова «без пользы», но думал: все же узнают люди, правду ли молвил Кириловщин Васька!

⁴ «Поты» — здесь: созданное усилиями, приобретенное потом и трудом.

— Чесо ради противился государю? Чесо ради, обещавшись увещать других к покорности, не только преступил обещание, но и сам с ними на сопротивление царю согласился? Зачем царское войско не пускало в обитель и хотевших войти отбивало оружием? — снова вошел в роль воевода.

Никанор выпрямился на своих старых больных ногах, зазвенели цепи печальным звоном.

— И то все ложь! — начал Никанор. — Самодержавному государю не только не противился, но даже и не мыслил когда-нибудь противиться, ибо научился от отцов больше всего оказывать царям чествования, как учил Сам Христос: воздавать кесарево — кесареви, а Божие — Богови. Но как вновь внесенные уставы и «новшества» патриарха Никона не позволяют соблюдать Божеские неизменные законы и апостольские и отеческие предания, то и удалился из мира и убежал из вселенной в морской оток⁵. И в стяжании преподобных поселился, чтобы по их стопам ходить в вере.

Вас же, пришедших растлить древлецерковные уставы, обрутать труды преподобных отец и сокрушить богоспасательные обычаи, в обитель праведно не пускали; пришли вы на расхищение и воровство. И ради татьбы царю на нас лгали: и Иевлев, и ты. А я тебя не боюсь. Я и цареву душу имею в руке своей.

— Да что говорить с тобой, ворон, — вскочил воевода и тростью ударил архимандрита по лицу...

Потом по голове, по плечам. Удары сыпались за ударами.

— Взять его, собаку: привязать за ноги и тащить в прорубь...

Старца привязали веревкой и со смехом и ругательствами поволокли к заливу.

Для надругательства с него стащили одежды и оставили одну срачицу⁶.

— Ха, ха, ха! — смеялся вслед воевода, — вишь, что говорит он: я-де тебя не боюсь. Цареву душу в руке имею. А твоя вот в моих руках!

— Погодите, братики, — вдруг остановил стрельцов Никанор.

⁵ «Оток» — место, залитое кругом водою.

⁶ «Срачица» — здесь: нижняя сорочка.

Те остановились в недоумении и не мешали Никанору подняться.

— Не душу, а *тело* мое, воевода. Душу не можешь убить, она не в твоей руке, а Божией. И царю зла не хочу, а за то, что он меня, духовника, твоему несправедливому суду предал, буду судиться с ним перед Престолом Господа... Вседержи...

Он не закончил. Кто-то дернул веревку, и его снова поволокли... Голова глухо билась об обледеневшую землю.

Так же скоро окончился суд и над старцем Макарием.

После его казни Мещеринов не считал более нужным продолжать комедию суда.

Началась просто бойня.

Скоро вся площадка, на полпоприща⁷ кругом, окрасилась кровью.

Виселицы работали вовсю. На самой стене обители, на железных крюках и на печальных, посаженных еще угодниками, вековых соснах висели люди, часто повинные разве только в том, что «по-иноческому обещанию» не хотели покинуть своей обители.

Умирала просто и спокойно. Вот двое, подведенные к виселице, откуда-то раздобыли даже свечечки. И каким-то чудом не погасла у одного свечечка даже тогда, когда погасло над землей похолодевшее тело. И горела в окоченевших руках мигающим огоньком.

А вот к окровавленной плахе подходит почти юноша. Он истово крестится на все четыре стороны и кладет на плаху руки. Взмах воеводской руки — и отлетела левая рука юноши, не знавшего другого оружия, кроме живописной кисти.

А правая снова делает крестное знамение. Это — Андрей Меркульев, ученик Федора, «живописца мудраго». По странному случаю, он умирал именно в тот день и, может, час, когда его мать с трепетом справлялась у Ивашки Дмитриева: «Жив ли мой Андрюшенька?..»

За что он был даже не просто убит, а четвертован вместе с дроворезцем Хрисанфом и своим учителем!?

⁷ «Поприще» — мера расстояния. Состояло из тысячи больших шагов, это около 690 сажений.

Просто потому, что опьянел воевода от крови, а может быть, и от аглицкой «огневой»: падок был он до вина.

А Хрисанф, Федор и Андрей, если бы уцелели, были для него невыгодными свидетелями по делу о казне монастырской. Недаром после пришлось Мещеринову рядом с длинным списком Божия милосердия, отобранного у него князем Волхонским, оправдываться, что иконы те ему «попы и чернецы дали в *почесть*, сказывая, что те иконы и деньги — их келейное, а не казенное»; или выдумывать, что та или иная дорогая икона его собственная и «писана за пять рублей Стенькой Иконником».

Хрисанф, Федор и Андрей лучше других знали — казенные или келейные эти «киоты с затворы» да иконы: «оклад серебрян, басмяннаго дела, венцы резны золочены».

Или эти восемь полотенец, на коих писаны страсти Господни на обе стороны, писаны, может быть, тем же Андреем.

И Мещеринов их *устранил*.

Под вечер устал воевода и вершил людей уж гуртом: в прорубь...

Прорубь была полна еще с полудня.

Это была не прорубь, собственно, а остатки крещенской иордани, подмерзшей нетолстым льдом.

Сюда таскали сначала поодиночке, теперь же, когда воеводе надоело возиться с «мелкотой», стали таскать оптом. Связывали попарно — спинами — и волокли на веревке.

Так перетаскали, между прочим, 150 «больничных старцев».

Набивши прорубь вплотную, в нее припустили воды, и все мученики, таким образом, примерзая ко льду, «конец жития приимаху».

Здесь же валялся труп убитого пястицами⁸ сотника Самки.

Здесь, недалеко, во рву, с проломленной о лед головой, лежал и Никанор.

Крепко примерзло ко льду старческое тело, но крепким оказался старик. Долго не осиливал его мороз.

⁸ «Пястицами» — здесь: кулаками.

Израненный, замерзающий, он находил силу утешать своих «детушек», крещающихся смертью в святой иордани.

— Не тужите, братики... Заутра у Христа проснемся. Претерпим мало, — повторял он, может быть, уже в бреду слова Аввакума, — претерпим миг один смертный, яко молния краткий, да Бога вечно возвеселим и с Ним вместе возрадуемся. Яра ноне зима, ох яра, студена, но сладок и тепел рай. Вон уже Иисус Христос к нам грядет: своим духом нас, грешных отогреет. И тепленько нам будет в Его обителях светлых.

А потом начинал молиться.

Прошла ночь, страшная, «грешная» ночь для одних и святая — для других, и на рассвете, «пред озарением дневного света, Никанор изыде от тьмы настоящего живота, в немерцающий присносущий свет, и от глубокого рва в превысочайшее небесное царство».

Пьяные стрельцы громко орали и пели:

...Гой, лихо... Гой вы, люди,
Гой вы, люди ратные,
вы, стрельцы удалые,
Гой, гуляйте весело,
Нету вам препонушки.

Безалаберно орали они над самой могилой святителя Германа и бросали пустые фляги на забрызганную кровью святую могилу.

А Мещеринов торговался с полуночи с попом Леонтием, келарем Левкеем да с предателем Феоктистом, чтобы их руками очистить монастырскую казну.

Сколько погибло за ночь? Мещеринов, по-видимому, понявши, что «больничных старцев» морозить не следовало, писал царю, что предал казни только взятых в святых воротах с оружием в руках 28 человек, «чтобы, на то смотря, иным неповадно было воровать». А «остальных воров, которые по кельям сидели, *побить не велел*»⁹.

Но донесение это заведомо ложно. По донесению предателя Феоктиста, «из пущих заводчиков» он оставил в живых

⁹ В актах, изданных Е. Барсовым, — «велел». Это ошибка. — Прим И. Усова.

«ради взыскания монастырской казны» келаря Левкея, казначея Леонтия, ризничего Вениамина, некоторых сотников и рядовой братии 32 человека. Но и из этих 32 многие были убиты немного позже, — должно быть, за то, что не хотели помочь воеводе в его «походе на казну».

Так, в тюрьме был замучен Вениамин, Епифаний, избиты Питирим-клирошанин, Ермоген Деревяга.

В начале лета 1676 года, когда прибыл в Соловецкий монастырь новый настоятель — архимандрит Макарий, Мещеринов подал ему «роспись за своею рукою» только о *14-ти уцелевших* чернцах «сидельцах».

Только четырнадцать!

Между тем, еще в 1674 году, по словам выходцев, сидело в монастыре братий 200 и бельцов 300 человек. Из них вышло из монастыря в стан Мещеринова в 1674 и 1675 гг. — 16 и в 1675 г. взято на острове 7 человек; всего 23 человека,

Куда же девались остальные? Может быть, часть из них перемерла от повальной болезни, развившейся в стенах монастыря незадолго до покорения; но все прочие были так или иначе преданы от руки Мещеринова казни.

Их было во всяком случае около четырехсот, «вящше трехсот».

Морская губа, омывающая монастырь с западной стороны, вся была завалена телами убитых, заживо замороженных и казненных монахов и бельцов. И они лежали здесь до июня, до царского указа, когда были погребены в одной яме, на морской губе, — так называемой «Женской Корге», неподалеку от Соловецких островов.

Создавшееся около мученической смерти предание рассказывает, что даже в Петров пост, когда все растаяло и зазеленели деревья, лед под мучениками не таял, и они лежали «яко спящии, цветяху благодати красотою».

Окопка кончилась. Обитель была разгромлена.

Но если сторонники никоновских новшеств хотели раздать влиятельный центр старых преданий, то они ошиблись.

Аввакум был прав, когда говорил, что из крови мучеников «выростут тьмы верных». «Отрубили у кого голову, — ино
32

та голова зерном станет и отродится от могилы сам-сот, сам-тысяч. Ни едина рожь так не родит, ни ячмень, когда голова мученика... Сожгли, — зола, семя новое...»

Так и было. Молва об окопке и мученической смерти отцов и страдальцев Соловецких разнеслась по всей земле.

Около могилы мучеников создались святые легенды, как всегда около святых могил.

И правда, за которую они стояли, подкрепленная их кровью, стала еще крепче.

Смерть четырехсот спаяла крепкой спайкой сотни тысяч, подкрепила тех, кто ослабевал противу мучительств.

Создали в конце-концов крепкий Выг.

Смерть царя Алексея

Наверху смятение. Никогда в эти часы не видели столько народа эти две маленькие комнатки с пестро-расписанными стенами и узорными окнами.

Царь неожиданно заболел и, видимо, к смерти. Прихварывал он, ровно и не надежен был, но все-таки конца так скоро не ждали. Надеялись, что обойдется; но вчера, 28 января, вдруг «схватило», и так, что сразу стало ясно: отходит царь. А сегодня, 29 января, с вечера — часов с семи (по-нашему), ждут конца с минуты на минуту.

Все собрались: кому по положению можно было быть здесь — в самых горницах, рядом с царской опочивальней. Царица Наталья в тревоге беседует с Матвеевым.

У изразцовой узорчатой теплой печки работы немецких мастеров греется тучный Прозоровский. Рядом с Нарышкиным — Головин, Юрий Долгорукий — самые близкие к царю люди. В стороне скромно и одиноко стоит иноземец, врач Гаден. Детей нет: с маленькими царь уже простился и отослал, а Феодор сам еле держится: болеет.

В опочивальне только патриарх. Он здесь «для утешения духовнаго» и что-то говорит своим хриповатым голосом. Но

царь не слышит. Сознание еле теплится в нем, а иногда и совсем темное облако наплывает на мозг.

Но вот очнулся и говорит что-то наклонившемуся владыке.

— А может, отозвать?.. Освободить старцев-то! — шепчет он, точно отвечая на какую-то мучающую его мысль. — Соловецких-то...

Иоаким недовольно цедит сквозь зубы:

— Твоя царская воля, государь, а моего благословения дать не могу: зло посечь подобает до кореня...

— Господи Иисусе!.. — мечется царь.

И чувствует, как снова наплывает облако.

— Давит... рука... святительская давит... Не могу... я..., — точно с кем спорит он уже в бреду: — в его руках душа моя...

И он снова открывает глаза.

— А я отай¹⁰ послал-было гонца-то, чтобы взяли Мещеринова-то, хоть на пост да Светлый день покой им дать... Ведь мясопуст, прощенные дни...

Патриарх молчит.

— Ну, позови Феодора... Отхожу... Страшно: день-то какой, день. И придет Господь во всей славе и все... Какой час-то?

— Десять, кажись... (4 часа ночи).

— Вот мне бы идти теперь в богадельни... Скоро и «действие» начинать. А я... на самый суд иду... Так Феодора-то позови, и всех...

Через минуту опочивальня наполнилась воплями и плачем... Царица Наталья лежала в обмороке...

— Ишь ты, по-немецкому, — не упустила даже в эти минуты съязвить «постница», верховая боярыня Анна Петровна Хитрово.

Царевича Феодора принесли на руках в немецком стуле с подручными; идти он не мог: ноги опухли.

— Поднимите меня... — прошептал царь. Его подняли.

— Ну вот, Феодор, благословляю тебя на царство! Бог тебе поможет; недужен ты. Ничего тебе наказывать не буду... Дыхания нет. По совести твори... Да слушайся князя Юрия, да дядю Артамона... и... отца святого патриарха. А вы (царь

¹⁰ «Отай» — втайне.

обратился к Нарышкину, Прозоровскому и Головину) — Ивана да Петра оберегите.

Царь, видимо, слабел.

— Узилища откройте все, отпустите в помин души. Вот бы мне или Феодору туда идти — в тюрьмы-то; да вот. видно, ни я, ни он не пойдет. Не пускает Господь... Кто за долги — за тех заплатите из казны. А что о соловецких... так ты, Феодор, делай, как Господь тебе скажет... А то Артамона спроси...

Алексей умолк и бессильно опустил на подушки. Громко вскрикнула и снова упала на пол царица. Патриарх подошел к изголовью... Врач Гаден взял уже мертвую руку царя.

— Почил...

Через полчаса все было кончено в опочивальне. Юрий Долгорукий на руках снес Феодора, и посадил его на престол.

Отец его, государев, в духовном чину патриарх, — его на царский престол благословил. И «за Божиею помощью, он, великий государь, царь и великий князь Феодор Алексеевич всея великия, и малыя, и белыя России самодержец, учинился на московском и на киевском, и на владимирском государстве, и на всех великих преславных государствах Российского царствия великим государем, царем и великим князем, всея великия и малыя Руси самодержцем».

Бояре стали подходить к руке.

И все тотчас же, при отце духовном и властях, пред св. Евангелием, «веру учинили на том», что им ему, государю, «служити, и прямити, и во всем всякого добра хотети безо всякия хитрости, и быти им в его государском повелении так же, как были при отце его, государеве...»

Три удара большого кремлевского колокола объявили о смерти царя Москве.

«Егда воевода оный (Мещеринов) кровавую оную соверши богонеугодную жертву (соловецкия убийства), тогда, в осьмый час того дня, государь оставляет своего царствия скипетр, оставляет власть тронодержавия, и смертью от сего жития умирает», — пишет автор «Истории об отцах и стра-

дальцах соловецких», по ошибке считающий днем взятия обители 29-е января.

Но повинен ли был царь в «богонеугодной жертве»? Он поддался греческому «гипнозу» и поработенный сильной волей Никона и блестящими «титлами» греческих святителей, не смел слушаться голоса своей души.

Может быть, и сломило его непосильное шатание между приказами совести и страхом гнева святительского.

И тяжелое недоумение: кто прав?

Печальный день

Царь Феодор совсем растерялся со смерти отца: он не ждал царства и никогда не думал о нем.

Больной уже давно цингой и еще какой-то нераспознанной врачами болезнью, слабый, мечтательный и не властолюбивый, он весь был погружен в новую науку, какую принесли Ртищевы, «дядя Артамон» Матвеев и друг Феодора близкий — Симеон Полоцкий. Рассматривать «Василилогион», что построил для него Матвеев, читать книгу «Об убиении Краля Аггельскаго», переведенную Епифанием Славинецким, или «книгу врачебную Анатомию» и писать стихи, тягучими польскими виршами — вот чем жил Феодор.

А дела государские были не для него.

И теперь смерть отца застала его врасплох.

«Какой я царь», — думал сам о себе Феодор.

Ему бы почитать: вон дожидаются на столе «Духовные струны» Лазаря Барановича.

Да и перевод «виршами» псалма 145 не успел кончить.

А тут... дела царские...

И Феодор растерялся.

Сейчас его тяготят, впрочем, не столько дела царства: дядя Артамон управит. Он боится за душу отца...

«Как же это, — тревожно думает он, сидя в обитом черным сукном кресле, приготовленном для похоронного выхода, —

через час отпевать, а еще не получено ответа от «бываго» патриарха; ведь духовник был...»

Феодор очень хочет, чтобы отца разрешили все его духовники: и Никон, и Никанор, и протопоп Савинов — теперешний.

От Никонора ждать прощения долго: далеко, хотя туда и послали. А Никон близко. И вот он шлет.

— Царь-батюшка, к тебе от..., — комнатный стольник запнулся, не зная, как величать сверженного владыку, — от Никона...

— А... жду... жду... Что?

Уже по лицу вестника, Феодора Лопухина, можно было угадать, что известия плохи.

— А приказал сказать тебе, царь, старец Никон, что он будет-де судиться с государем покойным в страшное пришествие Христово... Подражая-де Учителю своему Христу, повелевшему оставлять грехи ближним, я-де говорю: «Бог да простит покойного, а письменного прощения не дам, потому что он при жизни своей не освободил нас от заточения...»

Взволнованный Феодор, чуть не плача, пытался даже встать с своего кресла, но тотчас бессильно опустился.

— Ну ступай... Бог судить будет высокомерие сего...

И пошел к выходу на вынос.

Печальное шествие началось в третьем часу дня (9-ом утра).

Гроб, деревянный, обитый «червчатый» бархатом, несли комнатные царские стольники. Тело в гробу покрыто было царским платом из золотой бархатной парчи; «по нем травы, шелк червчат да зелень», с жемчужным кружевом. Поверх плата гроб покрыт был золотой парчой, а по ней «коруны и травы золоты с серебром». Гробовая крышка покрыта была «объярью по алой земле», а по ней полосы серебряные, «меж полос травы золотыя».

Из деревянных хором тело государя сначала вынесли в передние сени на рундук, а с рундука в проходные сени, что перед золотою палатою государыни царицы, на постельное крыльцо. На постельном крыльце гроб государя поставлен был на сани, обитые малиновым бархатом, а на санях несен был постельным и Красным крыльцом в собор св. архангела Михаила. Гроб и сани покрыты были еще особым золотым парчовым покровом.

При колокольном звоне, шествие тронулось в таком «чину»¹¹:

Впереди несли хоругви, за ними шло множество диаконов в облачениях, за ними несли гробовую крышку. За крышкой шел длинный ряд священников, а за ними несли запрестольные кресты и иконы и шли певчие, дьяки государевы и патриаршие и пели надгробное пение. Далее шли соборные священники и протопопы, игумены, архимандриты, епископы, архиепископы, митрополиты и сам великий господин святейший Иоаким, патриарх московский и всея России. За патриархом несли икону, которая была у гроба, и самый гроб. За гробом стольники несли в креслах Феодора Алексеевича, который был в «смирном», темном платье. За государем шли царевичи касимовские и сибирские и бояре в черном платье, а потом дворяне несли в санях царицу Наталью Кирилловну. На ней был черный суконный покров, и сани ее были обиты таким же сукном. За государыней шли боярыни в черных платьях.

Печальный звон встретил шествие около Архангельского собора.

Чин отпевания близится к концу. Несмотря на возгласы священнослужителей и сдержанный плач во всех концах огромного храма, кажется, что в соборе все безмолвно.

Тихо... Это — души затихли перед святой тайной смерти.

И отдельные возгласы, пение и плач как-то не могут разрушить этого впечатления глубокой тишины... «задумчивости душ».

Однако вот, вдруг, резким диссонансом ворвались чьи-то совсем не громкие, но уж чересчур неподходящие речи. И в такую минуту? Когда больше всего нужна тишина? Кто это?

Протопоп Андрей Савинов хочет подойти к почившему с грамотой, но неожиданно гневный окрик останавливает его.

— Дай, вложу я сам!

Это кричит владыка-патриарх, давно имеющий счеты с протопопом.

¹¹ «Чин» — здесь: порядок.

— Не дам... Мне надлежит: я душу его ведал. Я и от грехов разрешал...

— Тебе говорю: дай!

— Не дам... Мне достоин, а то царь и отойдет не прощен.

Патриарх делает шаг с своего места: резкое необычное неблагочиние. Дальше еще хуже: гневным жестом вырывает грамоту и вкладывает ее в руки царя.

Служба продолжается, но в храме нет прежнего тихого настроения, точно вдруг ворвался базар в тихую обитель.

«Что такое творят, что творят», — думает царь.

И не слышит службы, не слышит, как его зовут дать последнее целование.

«Могли как-нибудь ранее столковаться. Что у них теперь пойдет: у Андрея-то с патриархом...»

Действительно «пошло».

Царь еле успел добраться до палат и вместе со всей осиротевшей семьей усесться в большой палате, как туда ворвался обиженный протопоп.

Он был вне себя; можно было подумать, что он не из храма, а уже от поминального стола.

— Покойный государь не прощен: патриарх мне не дал грамоту вложить... Убью: царя без прощения оставил!

— Тише, тише! — кричит протопопу Нарышкин. Но тот еще более горячится.

Может быть, он в самом деле был пьян, иначе трудно объяснить несуразные, совсем пьяные речи.

— Дайте мне две тысячи стрельцов... я на патриарха пойду и убью. А то отравой какой убейте супостата, — кричал он. — Не убьете его — всех прокляну, а с патриархом управлюсь сам... Я уж пятьсот человек подговорил...

Феодор, не зная, как усмирить протопопу, молчал. Около него тихо шептал что-то лукавый и умный Симеон Полоцкий.

Кто-то стал урезонивать Андрея.

Гневно поднялась с места Софья, но ее остановили: неприлично-де.

Феодор сидел бледный как смерть.

А еще третий удар должен был закончить для царя тяжелый день.

— Привезли известие из Соловок, — шепнул ему Симеон.

— Что? Как, так скоро?

— Гонец не доехал: встретил посла от Мещеринова в Вологде и вернулся. Окопка окончилась.

— А Никанор?..

— Вот, все в свитках: это от Мещеринова, а это — от какого-то чернеца Феоктиста.

— Читай! — бессильно протянул царь свитки Симеону.

«Царю Государю и Великому Князю Алексею Михайловичу всяя Великия и Малыя и Белья России самодержцу. Бьет челом холоп твой Ивашко Мещеринов. Послан я, холоп твой, с полком на твою Великого Государя службу на Соловецкий остров, под Соловецкий монастырь, на изменников и непослушников, на соловецких воров; и велено мне, холопу твоему, над теми соловецкими ворами, изменниками чинить всякой воинской промысел со всяким радением и усердием неотложно, чтоб, Государь, воровство их и мятеж, искоренить вскоре, а я, холоп твой, будучи под Соловецким монастырем и чинячи промысел над ворами, и бился я, холоп твой, с ними, ворами, полтретья года, не щадя головы своей на многих вылазках и на приступах, и милостью, Государь, Божиею и твоим, Великого Государя, счастьем, я, холоп твой, с твоими начальными и ратными людьми, город взял и воров порубил... И Никонора, изменника, казнил, и других воров. А казну...»

— Читай другое.

Феодор говорил через силу, еле слышно.

— Может, после, государь?... Недужится тебе.

— Читай!

«Государю Царю и Великому Князю. Бьет челом нищей твой, Государь, богомолец, Соловецкато монастыря выходец, чернец Феоктист. В нынешнем, Государь, во 184 году, ноября против 9 числа, пошел я нищей твой, Государев богомолец, из Соловецкого монастыря через городовую стену от церковных раскольников и от твоих, Великого Государя, противников в полк воеводы Ивана Мещеринова и о том ему, Ивану, ведомо чинил, кое место твоих, Великого Государя, ратным людям для взятия монастыря в город

войти; и говорил ему, воеводе Ивану Мещеринову, многаяжды, чтобы он над теми соловецкими ворами промысл чинил неоплошно от храма Онуфрия Великого, у белой башни в исподнюю бойницу, где можно твоим, Великого Государя, ратным людям в город войти, и монастырь взять; и генваря, Государь, в 22 день, послал он, воевода Иван Мещеринов, меня, нищяго твоего, Государева богомольца, для взятия Соловецкого монастыря; я, нищей твой, Государев богомолец, тое белые башни в бойницу вшел и твоих, Великого Государя, ратных людей в город ввел; и взяли мы обитель без крови...»

— Без крови..., — повторил царь.

«...И церковных мятежников и твоих, Великого Государя, противников, соловецкых воров побили, а иных, пушких воров, воевода Иван Мещеринов перевешал, а многих чернецов, выволоча за монастырь, на губу, заморозил. До трех сот, а то боле! Вживе осталось с десяток. И как, Государь, воевода Иван Мещеринов в город Соловецкого монастыря вшел, то казну пограбил, образы и складни — дачи прежних Великих Государей, Царей и неокладные, и риз, и стихарей, и патрахилей, и поручей, да двести книг печатных и письменных, и сосудов серебряных, медных и оловянных многое число, слюды самые добрые пуд с пятнадцать, и платье соболье и кунье, пушки и пищали, и порох и всякое ружье, и многие часы, укладку и железа многие ж пуды, взял. И то и иные твоей, Великого Государя, монастырской казны, денег и золотых три пуда, и вещей и жемчуга выслал, слышать, он, Иван, ту казну из Соловецкого монастыря к себе в пожитки. А Никанор и старцы целую ночь мерзли, и говорили де с царем судиться станем у Бога...»

Симеон оборвал послание. Феодор помертвел: с ним начался припадок.

На Повенце

Лето. Благоуханное северное лето... Воздух полон смолистым, сладковатым запахом.

Воздух — дышать не надышишься.

«У нас дух-то тройной противу других мест», — говорят поселяне здешнего края.

И они не подозревают, что говорят почти точной химической формулой.

В самом деле, здесь дышишь чуть не чистым озоном, «тройным воздухом».

Благодать!

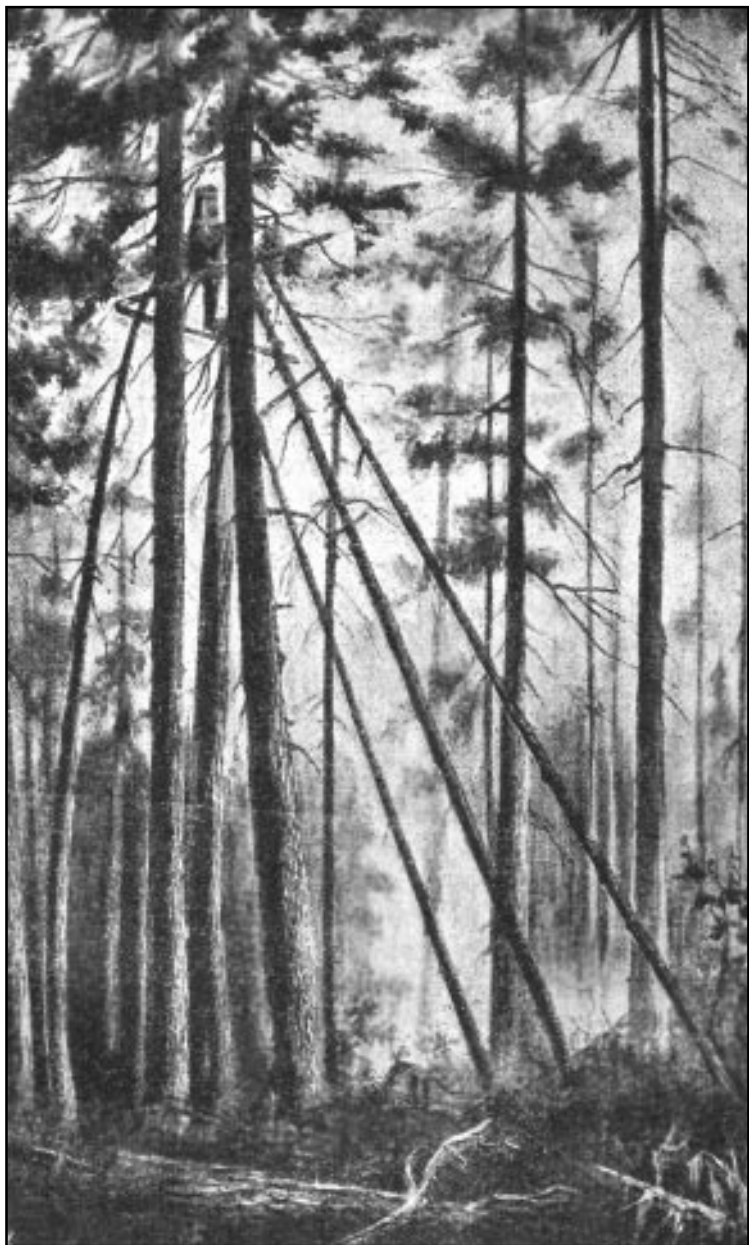
Мы в лесах Повенецкого края. Высоко-высоко поднимают свои верхушки вековые сосны. Точно колонны гигантского храма. И молиться хочется в тишине этого нерукотворенного храма из вековых великанов. Вот на одной горе «гумёнце выстрижено»: нет лесу. И далеко-далеко видно оттуда в прозрачном воздухе. С одной стороны каменная лестница бесконечных гор на сотни верст террасой спускается к Балтике; с другой — такая же лестница к Ледяному морю.

И везде зеленоватые озера наполняют гигантские ступени лестницы и переливаются одно в другое алмазными водопадами.

Вон, сзади, сверкает узкая лента Долгих Озер, там, уже за пределами горизонта, Повенчанкой она сливается с Онежским озером...

Впереди — Маткозеро, Телекенское, Выгозеро, с черными пятнами островов на зеленоватом фоне воды. И снова там и сям темную картину оживляет серебро широких водопадов. Горы, одинокие огромные камни, рассеянные всюду озера, водопады; лес, вода и камень.

Недаром здесь сложилась эта красивая легенда. «Вначале, — говорит она, — в мире ничего не было. Вода вечно волновалась и шумела... *Этот* шум несся к небу и беспокоил Бога. Наконец, разгневанный, Он крикнул на волны, и они окаменели — и превратились в горы, а отдельные брызги в камни, рассеянные всюду. Места между окаменелыми волнами наполнились водой, и образовались озера, реки» (Пришвин М. «В стране непуганых птиц»).



Лес в Повецком краю
(Из книги М. Пришвина: «В краю непуганых птиц»)

Здесь, в этом нетронутом человеческой рукой краю, — наш знакомец, Ивашка.

Он отдыхает на краю лесной белой ложбины маленького озера.

Около него его котомка и шапка, полная желто-розовой душистой морошки. Не то задремал, не то задумался соловецкий сиделец.

Мечтает. Да и как не замечаться около этой красоты. И лес дремлет, застыл; только верхушками что-то шепчет в дремоте.

Ивашка задержался около Березова Волока. Торопиться на Москву было незачем. Он еще не успел оправиться от болезни, как пришла весть, что «окопка кончилась».

Обитель разгромлена, и никакая помощь Хованских и других ей уже не нужна. И Ивашка остался «отдохнуть»: нечего скрывать, русая девушка с прялкой завладела Ивашкой. И он уже почти решил, что уйдет отсюда только с ней, своей Дарьюшкой.

Но пока он еще колеблется: время ли думать о браке в такие времена. Не грех ли?

И теперь, обделав для хозяина одно дельце в Повенце, идет посоветоваться со старцем Корнилием, молва о котором ходит по всему Олонецкому и Обонежскому краю.

«Найду ли старца-то? — думает Ивашка. — Все он бродит».

В самом деле, нелегко найти старца Корнилия: так часто меняет он место. Года два, как он покинул свою келию, вырытую в гранитной скале на реке Водле, и поселился на Кяткозере. Но, говорят, и там не хочет остаться, ищет нового места. Облюбовал уже местечко на Выгозере, хочет там часовню строить. Однако и на это место не больно надеется, и теперь, по слухам, живет на Выгозере и собирается, осмотревши место «на случай», вернуться на Водлю: там поп Павел из Водлозера очень ему по душе.

«Чай, Бог даст, еще застану в этих краях», — надеется Ивашка,

Он застал о. Корнилия у Северного угла Выгозера, недалеко от реки Выг...

О. Корнилий здесь совсем «на час» и оставаться не хочет, но все же успел вырубить келью. Собственно, рубить не было нужно: келья, как и прежняя, на Водле-реке, само-

родная: с трех сторон гранитные скалы; с четвертой он устроил деревянную стену с окном и дверью. Сверху потолок. И внутри печь.

Вот и все.

«Я жить не буду, так кто-нибудь спасется в гонительное время: годится, — думал, строя келью, Корнилий, — а то, может, умирать сюда приду...»

Но умирать-то он еще, видимо, не собирался. Правда, ему было уже лет «под сто»; но никто не дал бы и семидесяти крепкому, величественному и седому старику с длинной, серебряной бородой.

Ивашку он принял ласково, и много, и хорошо побеседовал юноша со столетним старцем. Он рассказал старцу о «сидении», а старец поведал свою долгую скитальческую жизнь. Рассказал, как начал свой подвиг иноческий у старца Капитона на Ветлуге.

«Святая то была жизнь... У Капитона-то были и вериги, чай, пуда два, ел в два дня немного хлеба и сурово зелие, как солнце зайдет. И свитки у него не было, один чапан, да мантия. И на ребрах не спал, а так, сидя, мало подремлет.

И от нас то же требовал... Сладкая была жизнь, чистая... Да недолго пожилось; на послушание услал меня в Корнилиев монастырь Комельского Корнилия: рано-де мне пустынно жить...

Постригли меня там (ранее меня Кононом звали), и жил я до смерти моего старца — тоже Корнилием звать, — а потом где только не побывал я, ищучи доброго жития.

Был и в Новгороде, когда там Никон на митрополии был. И приходит ко мне раз Пимен черный, дьякон, что теперь у вас около Березова Волока.

— Что ты, — говорит, — ведаешь, Корнилий, митрополит-то антихрист.

— Беснуешься так говорить, — ему отвечаю.

— Идем и посмотрим, как людей благословляет. Пошел: по-новому благословляет, не как прежние святители. Ну, гляжу, антихрист-не антихрист — учение нам Писания об антихристе ведомо, от кого родится и как явится имать... Ведомо, что и Ильи и Еноха еще не было и знамений нет, а что еретик, шиш антихристов, — это верно. И перестал у него



Инок Корнилий

благословение братья. А он, Никон-то: «Чего ради, — говорит, — ко благословию не ходиши?»

Молчу!

— Хочешь, сотворю тебя игумена в Деревяницкий монастырь?..

Молчу.

И ушел от еретика, а скоро и начались перемены. Стали ереси как капусту сажать: одну за другой.

На Дону был, в Ниловой пустыни был: избивали меня здесь

еретики еле не до смерти, а теперь вот по здешнему краю скитаюсь, хваля Бога».

— А злых людей не страшно? — спросил Ивашка.

— Что у меня им взять? Да и Господь хранит.

— Еще за Москвой взяли меня раз воры. Схватили кошель: там одне книги да денег десять алтын. Велел мне атаман читать, и читал всю ночь. Прочел про Моисея Мурина, како зрение злодейств ему душу сожгло

да привело в пустыню. От Пролога про старца, коего ограбили разбойники, а он их в дороге догнал со свитой. «Возьмите, мол: простите, я про свитку забыл и от вас скрыл...»

Про иного старца, его же разбойники угрозой заставляли с ними вино пити. И он, не пия от рождества своего, пил, не жизнь храня, а дабы на злодеев душу не легло новое душегубство...

И много другого читал. Слушал атаман да и заплакал. «Престану, говорит, от душегубства». И мне же еще к десяти алтынам милостыню дал...»

С большим трепетом сказал Ивашка и о своем деле; боялся он, как, дескать, со старцем, который с детства жены не знал, говорить о таком греховном деле, как брак...

— Слыхать, о. Корнилий, всюду безженное житие проловедуют. Да и то — для браку ли теперь время?

И вдруг Корнилий даже просветлел весь, как рассказал ему Ивашка о своей суженой:

— Благослови Бог. Плохи времена, верно. А все ж, коли сердцем сошлись, от Бога сие. От Бога; не противься, так надо, чтобы наши чада веру святую донесли до прихода Христа-Жениха... Надо.

Кого Бог к иночеству зовет — иди; кого к святому браку — не противься. Только попа бери доброго. Да на вот тебе подарочек и знай: береги на черный час. Понадобится.

Корнилий снял с божницы какой-то грязный тяжелый кусок и подал Ивашке.

— Что это?

— А то, из чего ефимки делают...

— Серебро?

— Оно... Я хотел было вериги сковать, да думаю, грех: не нужно иноку и близко к серебру да золоту подходить.

— Откуда же это, старец? — робко спросил Дмитриев. — Ведь здесь рублей на два ста, а то больше...

— А пойдем поглядим... Они прошли через моховое болото к высокой сланцевой скале, еле покрытой кустарником.

С необычайной для старца силой Корнилий сдвинул гранитный кусок, и перед глазами Ивашки сверкнула: *серебряная река*.

Это серебряные жилки «текли» по углублениям ущелья.

Ивашка даже перекрестился с испугу.

— Господи, какое богатство... Что же ты его не берешь, отче. Мы бы с ним всех бояр, да самого Иокима купили.

— А то, что правды деньгами не купишь, а нечистой помощи нам не нужно, — отвечает старец, приваливая камень, — а человеку лучше держаться от денег подальше... Расскажу я тебе из Пролога:

Два брата нашли кучу золота. Один перекрестился да через золото и перескочил — да бежать. А другой стал думать: сколько на золото можно добра сделать: церковь, мол, построю, богадельню. Нищих накормлю. Взял, а золото-то оказалось сильнее его: затащило его в грех да гибель. Так-то.

Ну, иди: спаси тебя Христос. Из этих-то местов уходи лучше. Здесь скоро темно будет, а потом посветлеет, да не по добру. Огни загорятся, костры не из сосны-матушки, а тел человеческих...

Ты уходи: благословляю. Дай Бог тебе пути доброго.

И снова замелькали перед Ивашкой горы, озера, камни, расплавленное серебро водопадов. Вон Серебряная гора: о ней говорят, что там, внутри, серебряная река течет¹².

Сказка, может быть, близкая к правде.



¹² Залежи серебра были известны после и выговцам-скитникам. Не очень давно залежи открыты на Сегозере. Позже открыто и золото.

Часть Вторая

На Москве

В тереме царицы Софии

Царица София Хорошо, мирно и тихо в келье царицы Софии. Посмотреть со стороны — это монастырь.

Настоящая келья, где не знают ни суеты буйной тогдашней Москвы, ни других интересов, кроме молитвы, да этих, правда, необычайных для московской царицы «мирских» книг. И этих обязательных в тереме русской знатной девушки пялец с хитрым вышиваньем.

И на мысль не придет, что в этих хоромах нет мира. И не святые грезы наполняют девичью келью, особенно последнее время, после кончины царя Феодора.

Как зверь в клетке, мечется последняя царица, «по ошибке родившаяся женщиной». У нее уплывала власть: с избранием Петра власть перешла к ненавистной мачехе и Нарышкиным. Погибло все, что приобрела она при своем больном брате за шесть лет его царствования. И приходилось замкнуться в этой тесной келье, жить затворницей в тюрьме-терему.

Если только мачеха с Петром в настоящую келью не запрячут, — думает София. — Нет... Не хочу, — повторяет она десятки раз на дню. — Я одолею... Не уступлю.

Последние дни жизнь ее кельи стала совсем необычайной: точно сплошное «машкерадное действие» деялось. Каждый день стали появляться какие-то неведомые иноки и ведут тайные разговоры целыми часами. А царица не была из числа богомольных; ведомо, значит, ряженые: слышать, даже боярин- «дядя», Иван Михайлович Милославский, — и тот заходил в раске и скуфейке.

И Голицын, «ближний царицин друг», портит свою красоту кафтаном какого-то блаженного.

А сегодня и совсем, вопреки обычаю, въявь пришли без машкеры. Милославский Иван Михайлович, Хованский, — «князь Тараруй», как его прозвали, — с каким-то головой стрелецким, Василий Голицын и даже сам владыка-патриарх. И совсем уж как будто неладны для терема слышатся речи.

— Ну... что, дядя? — смущаясь, начала царевна, не зная, как приступить к видимо серьезному совещанию...

Может, смущало ее, что двое из собеседников, Хованский и стрелец Юдин, держались как-то настороже, как чужие... Мало знаемые люди.

— Что скажу? А то, что опасно стало. Стрельцы шевелятся... Раззадорили их тем, что им покорились да полковников били кнутом за налоги и обиды, и теперь им уйму нету...

Бродят, как овцы без пастуха, и кружала разбивают да начальных людей бьют.

Только вот на последях стали им умные люди говорить, что недолго их царство... Растолковали им, что Грибоедовы да Карандеевы, коих кнутом били, птица мелкая. А настоящие их вороги повыше стоят — Языковы там, Лихачевы, а пуще всего Нарышкины. Что им только немного поправиться, как они стрельцов в три погибели согнут... И все нынешнее буйство им выместят.

— Ну к чему же ты это? — прервала царевна, не угадывая цели лукавой речи.

— А к тому говорю, что если им врачество указать, так они за него обеими руками ухватятся.

— Что за врачество?

— Дело просто... Намекнуть им, что нужно-де всех старых вымести; с Нарышкиных начать и правую власть уставить, которая все их вины забудет. Для чего, мол, Ивана устранили и сами себе навязали воров... Они уж поймут, что делать...

План был обдуман хитро и тонко: в самом деле, стрельцы стали немного пугаться ответственности за последние буйства, и подсказать им, что и все правительство при котором они шумели, можно «похерить»¹³, — было бы гениальнейшей провокацией.

¹³ «Похерить» — здесь: поставить крест, зачеркнуть крест-накрест подобием буквы «Х», называемой в старославянском алфавите «херь».



И.Е. Рязинъ. Правительница царица Софья Алексеевна, Третьяковская галерея.
J.E. Ryzin. La Tsarine Sophie Alexeievna. Galerie Trétiakov.

Царевна Софья

И Софья поняла это. Впрочем, она знала, что и план этот давно проводится в «действие» разбросанными по Москве агентами.

— А Нарышкины, чай, уж учуяли.

— У них вся надежда на Матвеева. Приедет, мол, успокоит. И верно: любят его. Старик ловкий, ну, да и тут нет худа без добра...

Милославский снова умолк, точно выжидая речей других.

У Софьи, видимо, вертится на языке какой-то вопрос, но говорить еще боязно. Хотелось спросить: так как же быть? Что надумал «лиса» Милославский, — и что-то удерживало от вопроса: должно, опять хмурый вид Хованского.

— Все в руках князя Ивана, — начал опять Иван Михайлович, точно угадавши мысли царевны. — Не захочет он у Матвеева быть на послугах да у него с Нарышкиным на запятках стоять за капитаной¹⁴; Матвеев-то, слышь, так ездит, по-заморскому... так он стрельцам разъяснит.

Князь Хованский — человек храбрый, честный, но немного туговатый умом, — смотрел растерянно. Он плохо еще понимал в чем дело... Нечуждый тщеславия, он мечтал, пожалуй, о более почетном положении, чем то, какое занимал он, потомок Гедиминовичей, и Иван Михайлович бил прямо в цель, играл на его самолюбии.

Но в обстановке совещания ему чувствовались ложь и что-то темное, и он не решался подать голос.

— А что мне Матвеев, — наконец, выговорил он, — старик хороший.

— Хороший-то он хороший. Да норовит уж очень в правители, не почтя тех, кто его родом постарее. Да и жесток. Небось, стрельцам при нем не гулять. Коли его власть будет, всех разошлет на рубежи. Да еще под начало поставит старых воевод какому-нибудь, как он, новому выходцу.

По лицу князя было видно, что его задели за живое, и «лиса» торопился пользоваться впечатлением.

— А нужно тебе, князь, благо, стрельцы тебя за Большого чтут, за правду встать — за царевича Ивана. Обидели сироту,

¹⁴ «Каптана» — зимний экипаж на полозьях.

и никто за него не вступится. А пошто его царства лишили... Чай, не с улицы подкинули. Царев сын, как и Петр. А поможешь, тебе первая честь, как и по крови твоей надлежит.

— Ивана точно что обидели, — раздумчиво, точно еще не осилив всего, протянул Тараруй, — оно точно: ему бы царем быть.

— Вот постой за него... Веди стрельцов к Кремлю. Хотим, мол, Ивана царем. А недругов наших нам выдай. Они за тобой-то, небось, пойдут.

Хованский взглядами просил совета Юдина, но тот упорно и угрюмо молчал.

— Ведомо, пойдут... И то говорят: какого-де мы выбрали царя... Быть нам у бояр в ярме. Еще какому-нибудь чужеземному неприятелю отдадут в неволю. А то еще много говорят, что-де и веру христианскую старую искоренят. Им бы дать молиться по-старому... А?

— А по нас, что и не дать... Пусть молятся. Мы не как Матвеев, новых образов не заводим, — ответил за царевну дядя.

— Чем ты благословишь, святой владыка? — обратилась к патриарху Софья, видя, что тот хмурится.

— На царство Ивана благославляю. Самой тебе ведомо, неволей я Петра благословил. И от Нарышкиных мне сладости мало. А о вере князь говорит что-то неладное, кажись.

Благословлю, коли ты мне после сама поможешь, коли Бог приведет, с твоими врагами управиться, и церковных...

Софья испуганно взглянула на патриарха и перевела взгляд на Хованского.

Патриарх смолк.

— Все будет, как хочешь, владыка. И с землей, и с монастырем, — торопилась замять Софья опасную речь. — Только это дело нам помоги вершить... Все будет...

Патриарх уже понял неловкость говорить о церковных врагах при Хованском и не возражал.

— А кто же править будет? — задал щекотливый вопрос Юдин.

Милославский, Софья и Голицын переглянулись.

— Кому же править, как не старшей сестре, обыкшей уже в делах царства, — снова неудачно впутался не совсем толковый святитель.

— Нет, это будет неладно... Недостоит царством бабе править. Неслыханно такое дело... Не надлежит, — отрезал Хованский.

— Неслыханно, — подтвердил Юдин.

У царевны сверкнули глаза гневом. Рука было поднялась для привычного гневного жеста. Но она вовремя сдержалась и приняла скромный вид инокини.

— Не думаю я о власти. И кроме меня найдется. Где мне... Только бы Ивана возвести с Петром рядом. А править найдутся люди постарше меня и поумнее, и потверже... Из именитых бояр.

— Так как же, значит, за Ивана, князь, поднимешь стрельцов? — спросил «князь-дядя».

— Ладно... Приведу. Обидели сироту, верно... Положитесь на меня, а я уж пойду... Дело есть... Благослови, святой владыко.

Князь Хованский, видимо, торопился убраться. Его проводили, и сразу собрание стало оживленнее. Освободились от Тараруя.

— И зачем ты его привел? — обратилась Софья к дяде. — Не наш он...

— Без него нельзя... Он нам великая помога... Недаром его стрельцы «Большим» прозвали. А окажется не под стать, — уберем. Кабы поумней был, не привел бы.

— Ишь ты. Свободу, вишь, еретикам, — воспользовался Иоаким возможностью дать выход гневу. — Не свобода им нужна, а костры: «Еретикам несть иного врачевания, паче смерти...». Так уговор-то помнишь, княжна? Вымести пора весь еретический сор, — дотла вывести...

— Твое дело, владыко святой. Слова вопреки не скажу... Сам видишь, мне они не поддержка. Неприлично-де царевне царством править. А Пульхерия-царица? Любо в землях иноземных: не только правительницы, а самодержицы.

— Благословляю, — подтвердил патриарх. Милославский решил, что все сказано.

— Ну, а у меня все готово. Хованский-то только печать приложил... И то он все наши речи повторял, что мы по стрельцам пустили. Наши орудут. Уж по всей Москве ходит слух, что Ивана отравить хотят... что и Феодора тоже от-

равили. Один человек слух пустил, что стрелецкое войско и все распустить хотят, а то послать на ляха. А вот и список наших ворогов: очистим Москву, и некому будет нам перечить.

Он вынул длинный свиток: Долгорукий, князь Юрий, да Михайло, Юрьев сын, Нарышкин Кирилл Полуэхтович да Матвеев, Языков, Семенчашник да дохтур, что царя отравой сморил, Гаден да стольника Нарышкина дети: Афанасий да Лев, да Мартемьян, да Федор...

— На вот, читай сама, царевна.

— Ивана Языкова нету. И враг, и больно он за старый крест распинается: еретик...

— Впишем, — поддакнул Милославский. Софья пробежала список.

Ни одна жилка не дрогнула в ее лице, когда перед нею стали проходить эти лица, обреченные на казнь.

В голове ее даже не шевельнулась мысль, что в эту минуту, когда она держит в руках страшный список, имена, написанные в нем, — еще не «звук пустой», а живые люди... Что они дышат, радуются жизни, пьют жадными устами от кубка, любят, надеются, окружены семьями (Полевой). Для нее это были лишние люди, бревно на дороге — и она спокойно убирала это бревно.

— Может, и Хованского с сыном сюда же? По ошибке как-нибудь его заденут, а нам посвободней. Да и этого стрельца, что с ним... В лес смотрит.

— Их время не уйдет... Подождем.

— Когда же?

— А там увидим.

Тараруй в это время уж хлопотал среди своих за Ивана, не зная, что ему приговор подписан теми самыми людьми, которым он обещал служить... Что только на время не внесен он в *кровавый свиток*.

Шло 11 мая. Матвеев был уж под Москвой, нужно было торопиться.

Около Марьиной рощи

Первую половину мая 1682 года проводили в Москве тревожно. Началась тревога со дня смерти царя Феодора (27 апреля) и не только она не стихла, а все росла и множилась.

Каким-то темным людям нужна была смута — и ее усердно и умело сеяли.

На что уж в захолустье поселился Ивашка Дмитриев, где-то чуть не у Марьиной рощи, а и сюда заглядывали неведомые люди и говорили видимо неподобные речи. Правда, в этом углу поселилось много всякого нового люда. Жили и стрелецкие семьи, которым почему-нибудь было тесно на «слободе». Народ, значит, был для смуты нужный. Заглядывала сюда не раз какая-то старушка-нищенка, и — страшно сказать — ходил слух, что это — царевны Софьи мамка. И говорила, что-де царя отравили зельем Нарышкины, через лекаря Гадена. Да и Ивана отравить хотят. И будет тогда всем погибель: крестить станут в немецкую веру, а стрельцов разошлют в рубежные города. Ходили какие-то странники да юродивые, и все в один голос: «Гибель, — говорят, — идет... Чернокнижника Матвеева только ждут: наведет он на весь город тьму, и тут и Ивана изведут, стрелецкие и новые слободы пожгут». А постельница Феодора-родимица деньги стрельцам раздавала: постойте, мол, за Ивана да за царевну.

Иван Дмитриев и его Дарьюшка, счастливо устроившиеся в своей хижине, не обратили бы внимания на темные речи, если бы у них не было более верного источника сведений.

Ноне, под обед, 14 мая, напугал их уж вестник настоящий: приходил брат Ивана, Андрей, стрелец, близкий к голове Юдину, правой руке Ивана Хованского. И рассказал, что все толкуют вправду: стрельцы хотят идти в Кремль сажать Ивана на царство и искать обиды на воеводах Долгоруких, Ромодановском, Языкове за то, что теснят да обворовывают.

— И все бы то хорошо и по правде, — говорил Андрей, — да кабы не быть ловушке. Князь Иван Софье верит, а она, кажись, смуту лжой сеет. И хочет брата на брата натравить. И лисит все Милославский Иван, а этой лисе какая вера?

И поведал Андрей, что будто бы и список есть изменников, которых порешить надо. И хотят завтра, покуда Матвеев еще не вошел во все дела. И Долгоруковы, и Ромодановские и Языковы, двое Нарышкиных — целых семеро. И Артамона Матвеева и врача Гадена. А какой Матвеев изменник? Не знай, что и будет. Матвеев лисе бельмо на глазу.

Неудивительно, что после этих речей молодые Дмитриевы чувствовали себя непокойно, хотя дело их касалось мало.

— Чего не может быть, когда разгуляется народ; тут друг друга палить будут. И мало ли еще что. На днях к Дарьюшке пристал какой-то из важных, видно, слышь, стольник. И такие речи говорил, что и думать совестно.

Кабы не деверь, что вовремя пришел да выкинул стольника, не знай, что бы и делать. Сила бабья. А ушел — пригрозил: ладно, говорит, усмиришься. И всем вам дам знать.

И теперь Дарьюшке чудится злое, бледное лицо. И вот теперь ночь глухая, а ей не спится.

Во время смуты что хочешь сделает такой-то злодей.

И еще Ивашка пропадает часто, дела у него какие-то. Не быть добру, не быть, — подсказывает сердце Дарьюшке. И она досадует на мужа, который спокойно спит. И Дарьюшка всячески старается заставить себя спать, но нейдет сон.

И вслушивается она: не слышно ли сторожевого набата. Не начали ли уже жечь Москву: да и не услышит в такую ночь.

А ночь накануне страшного дня была бурная и мрачная. «Холодный и резкий ветер, переходивший временами в вихрь, клубил на темном ночном небе громады облаков, громоздя их друг на друга, разгоняя в разные стороны, вновь сбивая в сплошные массы и погружая улицы, здания, церкви и башни в непроглядную непроницаемую тьму. Слышны были раскаты отдаленного грома. Временами яркая молния охватывала полнеба, обливая волшебным светом башни и храмы Кремля» (Полевой).

— Не к добру, — повторяла Дарьюшка. — Кажись светать начинает.

«Тук, тук, тук», — стукнула щеколда у дверей. Дарья вздрогнула.

— Кто там?

— Отоприте, добрые люди, — донесся чей-то молодой голос, — спасите от ночи.

Дарья торопливо разбудила Ивашку.

— Кто там?

Осторожно отворили они калитку, освещая фонарем поздних гостей.

— Убогие...

За дверью стоял молодой парень с тонким русским лицом, в простом холопьем кафтане, придерживая рукой старика, одетого, как нищий, из тех, что по святым местам ходят, и, видимо, больного. Он еле держался на ногах.

— Вот отец занемог. Идти не может... Укройте от ночи.

«Не совсем обычный выговор», — обратил внимание Ивашка.

«Чтой-то, точно немец по обличию», — в Архангельске он немцев-то наглядялся.

— Да чьи вы?.. Крещеный ли вы народ?

Молодой человек, видимо, колебался.

— Гаден это, царев лекарь, а я — его сын. Крещены мы, и, коли Бог у вас есть, спасите, — решился он, видя, что скрываться будет хуже.

— Гаден? Чернокнижник!.. — даже вскрикнула от испуга Дарьюшка, и перед ее глазами точно пронесся белый свиток, на котором написано кровью имя «дохтура».

— Ну, ты! — прикрикнул Иван. — Откуда ты знаешь, чернокнижник или кто? Ведомо, для смуты его припутали. Да и разбирать некогда. Кто бы ни был, — не погибать чать... Он — нехристь, да мы-то крещены. Веди скорее, пока никто не видал.

Дарьюшка с состраданием и тайным ужасом помогла юноше ввести больного отца. Еще бы: еретик, да еще, говорят, колдун. А все жалко.

«Господи, началось, верно», — подумалось ей в то же время.

Да, началось, хотя врач Гаден ушел из дома ранее начала: его предупредили о смысле креста на его воротах, и кабы не болезнь, он, был бы, может-быть, далеко от несчастной Москвы.

Пятнадцатое мая 1682 года

Еще не взошло и солнце. Небо только чуть зарделось. Легкий сумрак еще покрывал голубым налетом предметы, скрадывая, стирая очертания наиболее отдаленных.

Москва спит. Спит крепким предутренним сном.

Узенькие тесные улочки пусты. Окна домов наглухо закрыты ставнями. Заперты тяжелые массивные ворота.

Тихо.

По временам где-где брякнет цепью собака. Загремит колоушка проглядевшего зорю караульщика. Перекликнутся петухи.

И больше — ни звука.

Спит город, спит и Кремль. За высокими зубчатыми стенами пусто, только стража не спит, бродят возле всех входов, поеживаясь от легкого утреннего холодка. Во дворцах тихо, ни в одном окне не видно никого, только в опочивальнях мигаю тусклые огоньки перед образами.

И вдруг тишину раннего утра разорвал резкий набат: бом-бом-бом!

Кричащие, волнующие, мятежные звуки набата сорвались с колокольни Ивана Великого и понеслись над спящей Москвой. И едва успели донестись до земли первые звуки, едва смолкнул первый удар, где-то подхватили — и уже два колокола начали сеять тревогу.

Потом еще и еще.

Прошла минута — и все «сорок сороков» московских церквей вторили Ивану Великому. Все, и большие и малые колокола, разнесли повелительный, властный призыв к чему-то. Готовилось что-то важное, необыкновенное.

Вся Москва сразу пробудилась.

За запертыми воротами началось движение. Хлопали двери. Люди, полуодетые, выскакивали из домов и водили испуганными глазами по небу, ища зарева. Думали, что вся Москва загорелась сразу. Но утреннее небо все было серовато-бело и только на востоке краешки облаков золотились первыми лучами невидимого солнца. Не видели пожара, и еще больший страх охватывал поднятый с постелей народ. Ждали какого-то неслыханного несчастья.

В одном месте говорили, что казанские и астраханские татары собрали войско и напали на Москву. В другом говорили: Стенька Разин воскрес и теперь мстит за свою казнь: грабит и убивает всех подряд и т.д.

Крымский хан, турецкий султан, ляхи, Стенька, казанские татары — все одновременно напали на Москву, — вот к какому заключению мог прийти досужий человек, если бы такой нашелся в Москве, который бы переслушал все толки перепуганных москвичей.

На одном дворе старуха решила, что настал Страшный суд и, стоя пред образами, кричала:

— Грешница я, Владычица-Матушка, Николай-Угодник, не погубите. Грешница я, грешница.

И всюду металась без толку, собирали в кучу вещи... Плакали, кричали...

Но весь этот шум, вся суматоха не выходили за ворота. Улицы были по-прежнему пусты. Никто не решался идти навстречу страшной, неведомой опасности. Самые храбрые осмеливались только выглянуть за ворота и опять прятались, ничего не увидав.

Неизвестность продолжалась недолго.

Прошло не больше 20 минут, и к звукам набата присоединились еще какие-то звуки — резкие, отрывистые. Эти звуки усиливались, приближались по направлению к Кремлю, и скоро москвичи сквозь гул набата узнали барабанный бой, десятки барабанов били тревогу. А за барабанами новый шум, темный, густой, с резко взвывающимися по временам струйками — топот, рев, выкрики, шум оружия.

У всех щелей в заборах, воротах появились испуганные не терпеливые глаза.

И москвичам представилось невиданное зрелище.

Впереди шли барабанщики всех 25 стрелецких полков, за ними несли 25 развернутых знамен. За знаменами шли стрельцы. Но на этот раз вместо правильных рядов надворной пехоты, одетой в разноцветные (по полкам), зеленые, желтые, синие и т.д. кафтаны, была беспорядочная, взбужденная толпа. Все были одеты одинаково — на всех был один наряд палача: красная кумачовая рубаха с засученными

рукавами. Да сейчас стрельцы и не были солдатами, они шли исполнять роль судей и палачей.

Двадцатитысячная толпа двигалась к Кремлю с шумом, с угрожающими криками.

— Выведем лиходеев царских!

— Всех Нарышкиных перебьем!

— Отомстим за царевича Ивана!

Стрельцам сообщили, что Нарышкины извели зельем царевича Ивана, и они шли мстить отравителям за царевича. Шли, готовые на все, даже на осаду Кремля, с пушками, со знаменами.

Был уже день, когда первые ряды стрельцов подошли к Кремлю. Вход был свободен, против их ожидания, и стрельцы сквозь Фроловские и Никольские ворота наполнили Кремль.

Многие боярские дети попробовали оказать стрельцам сопротивление, но были избиты.

Это сопротивление, слишком незначительное, чтобы сдерживать бунтовщиков, только раздражило их.

Стрельцы собрались перед Красным крыльцом. Размахивая бердышами и копьями, они принялись кричать:

— Нарышкиных сюда!

— К нам на расправу лиходеев... Подать сюда!

— Извели царевичей отравным зельем, теперь хотят Нарышкина Ивашку царем... Непопустим.

— Недаром примерял Ивашка венец царский!

— Мы ему мученический примерим. Подать сюда Нарышкиных.

— Выведем ворогов государевых. Всех перебьем...

— Нарышкиных сюда. А то все по бревнушку разнесем!

— Ивашку с Афонькой, Артамошку Матвеева...

— Долгоруких... Подать — отравителей...

— Нарышкины хотят царское семя вывести. Мы их выведем.

— Отплатим за государя Феодора Алексеевича. Выведем измену.

— Перебьем всех бояр, коль не выдадут царских ворогов. Подать сюда!

Ивашка не мог усидеть дома. Любопытство тянуло его к Кремлю. «Что-то там делается, заварилась каша большая, к добру или худу?»

Напрасно умоляла его Дарьюшка: не ходи, мол... Нечего тебе там делать... — Он все-таки пошел. Уже около кремлевских стен разыскал он своего брата Андрея. Он с кучкой стрельцов стоял отдельно от толпы, хмурый и злой.

На площадке и в стенах Кремля немного утихло. Стрельцы ждали выхода царицы и бояр из дворца и на время приумолкли.

Конечно, в толпе шумели, переговаривались, бранились. Но прежнего дикого рева не было.

— Они давно собираются весь царский род перевести, Нарышкины-то, — убеждал одну кучку какой-то из прислужников Милославских, — пуще всего им Софья — бельмо на глазу. Чай, слышали, что царевна на похоронах говорила.

— На похоронах?

— На выходе к Архангельскому собору. За гробом брата-царя пеша шла, за гроб держалася, да как убивалася!

— Да ведь им соборами из теремов выходить не положено!?

— Ну, соборы соборами, а она вышла! И смотреть было куда, как трогательно, как она слезами обливается, да причитает, да голосом ведет, да во весь народ так и сказывает: «Отошел брат Феодор от сего света, нежданно-негаданно, отравили его враги зложелатели! Старший брат наш Иван в цари не избран, и остались мы без матушки, без батюшки, без брата-царя, сиротами горе-горькими...»

— Неужто так и сказывала, что отравили?

— Я ж тебе говорю — своими ушами слышал!

— Отравили, ведомо... отравили, — поддакивала, не зная зачем замешавшаяся сюда баба-богомолка.

— Врач Гаден настоял зелья-то... Слышь, три ночи на луне ворожил. И то зелье в три дни сушил... И селезенку, и сердце на тло?? ест...

К кучке, где стояли братья Дмитриевы, подошел странник с котомкой, в скуфеечке, должно быть, инок.

— А перво, нужно веру отстоять... Веру нарушили.

— Дай Матвеевым волю — не только крест истинный, аллилуйю дотла истребят, а органы в церкви введут, как

у люторов... Да колокольчики. И папу-бабу на престол посадят.

— Коли я еще в Соловках жил, был мне глас в душе тонце... Неведомый глас... Слышу это я: «Иди, — говорит, — на Москву. Да приходи ко всем верным моим и скажи: приспе, мол, час. Пойдите за аллилуию-матушку, да крест честной... Пожгите латынския книги и чтобы было по-старому... Иди, — говорит, — иди».

Я и пошел.

— А ты, отец, в Соловках был? Когда?

— Всю окопу просидел... и биен был, — гордо отозвался инок.

— А звать-то как?

— Паисием зовусь. Священноинок.

— Не слыхал что-то, — протянул Ивашка.

— Где тебе, чай, слыхать... Подкеларем был...

— Не слыхал, хоть тоже всю окопу сидел, — улыбнулся Ивашка... Чудеса.

— Э... Э... Да старый знакомый, — вмешался один стрелец. — Кажись, я тебя, надьсь, у патриарха на дворе видел... Владычный келейник тебя сбитнем угощал. Чего же ты это общаешься с еретиками?

«Подмутитель» понял, что он случайно попал впросак.

— Видишь, какие времена пришли мирные, — с горечью заговорил Андрей. — Патриарховы холопы о кресте да о губой аллилуии заботятся... Не ладно.

— Не ладно... Не ладно, — поддакнул Ивашка. — Ишь-то — из Соловок, говорит. А по роже — прямо из царева кружала.

Между тем, в царском тереме шел большой переполох.

Все в ужасе металось по дворцу. Не знали, что делать. Выйти к стрельцам никто не решался. Послали, наконец, за патриархом.

Иоаким пришел бледный, дрожащий от страха. Он испугался демонов, которых сам же вызвал и не знал, чью сторону держать. Собрались все бояре, царица, патриарх и стали

обсуждать положение. Началось совещание под яростные крики бунтующих стрельцов, недолгое, но всем оно показалось бесконечным. Все ждали: вот сейчас ворвутся и перебьют всех.

Наконец, решили идти и успокоить стрельцов, сказать им, что царевич жив, показать его.

И снова остановка — кому идти: все боятся, никто не решается. Нарышкины попрятались. Ивана Нарышкина, которого особенно настойчиво требовали стрельцы, спрятали под рухлядь в чулане, и, чтобы чулан не возбуждал подозрений, оставили дверь в него открытой.

Время идет, крики стрельцов становятся все яростнее и нетерпеливее. Ждать больше нельзя. Царица решила идти сама с обоими царевичами. Патриарх и бояре пошли за ними. Обоих царевичей наспех одели как попало, в выходное царское платье.

Все готово. Пора идти. Дорого каждое мгновенье.

Но страшно... На площади уже не человеческие крики, какой-то звериный рев.

И опять остановка. Кому идти первым? Быть может, первого разорвут в куски.

Царица снова решает. Она отворяет дверь и первым пропускает царевича Ивана.

Терпение стрельцов к этому времени уже истощалось; уже раздались предложения идти самим искать Нарышкиных. Наиболее возбужденные теснились уже у самого крыльца. Железная решетка, огораживавшая крыльцо, трещала от их напора.

И вдруг растворилась дверь из дворцовых сеней, и перед мстителями за царевича Ивана на крыльце появился он сам — живой, невредимый.

Стрельцы остолбенели. Никто из них не думал о возможности обмана, все верили, что царевич отравлен.

Шум сразу смолк.

Царица воспользовалась затишьем и подвела обоих мальчиков, Петра и Ивана, к краю крыльца.

— Смотрите, вот оба царевича здесь, живы. Лиходеи наши смутили вас. Смотрите сами, вас обманули, — дрожащим от сдерживаемого волнения голосом сказала Наталья Кирилловна и остановилась, смотря вниз на огромную, бесконечную толпу. Эта толпа держала в своих руках жизнь ее братьев, племянников, а, может быть, и ее.

Толпа молчала. Стрельцы не знали, что им делать. Предлог бунта, который привел их сюда — месть за царевича, был отнят. Возбуждение сразу прошло, и его место заняла какая-то нерешимость, неловкость.

Заговорили.

— Чего же мы шли, поверили брехне? Чай, Цыклер мастер врать давно, всем ведом, а мы уши развесили.

— Заварили кашу Милославские, а расхлебывать ее не им, а нам.

— Айда назад! Вдругоряд умнее будем, не станем бунт подымать из боярских сплетен.

Но агенты Софьи и Милославских, рассеянные среди стрельцов, нашлись.

— Ишь, нарядили. Опять нам Гришку хотят посадить на царство. Царевича извели, он помер.

— Это не царевич. Глаза отводят! Нарышкиных сюда. Пускай покажут, где настоящий царевич!

Царица напугалась, но все же ответила.

— Идите сами посмотрите ближе. Идите, кто раньше видел царевича. За что вы взводите на нас такой поклеп?

Предложение приняли. Живо притащили откуда-то лестницу и несколько человек влезли по ней.

— Ты — царевич Иван Алексеевич? Не извели тебя Нарышкины? — спросили мальчика.

— Я, — отвечал испуганный царевич. — Никто меня не изводил и жаловаться мне не на кого.

Большого удостоверения требовать было нельзя, и стрельцы слезли. Однако не успокоились. Из толпы раздались новые крики.

— Хоть жив царевич, а все убить его недоброхотов.

— Сейчас не тронули, так после изведут. Мешает он Нарышкиным.

— Видали, чай, как Ивашка-то с Афонькой порфиру примеряли!

Десяток-два Софьиных «статистов» подхватили.

— Смерть Нарышкиным!

— Всех перебить!

На Красном крыльце снова перепугались. Царица хотела увести детей, но бояре запротестовали.

— Помилуй, матушка, они — защита наша. Их не тронут, а с ними и нас остерегутся.

Опять заговорили, что делать? Матвеев предложил.

— Идите кто-нибудь, бояре, поговорите, пообещайте всех полковников-обидчиков и всех, кто стрельцам неугоден, наказать. Накажем, мол, по строго, только после. Сейчас пускай идут домой. Теперь, я чай, сговориться с ними можно; слышать, одни горланы орут. Я сам пошел бы, да меня, слышь, прежде всех решили убить вороги наши, — пожалуй, пуще их расправлю, а старой головы не жалко за царя сложить.

Выбрали четверых: Шереметьева, Черкасского, Голицына и Хованского. Бояре сошли вниз.

Увидев депутатов, стрельцы замолкли и выслали своих выборных для переговоров.

Черкасский обратился к выборным стрельцам с вопросом.

— Чего вы хотите? Царевичи оба живы, никто на них и не злоумышлял. Это хорошо, что вы любите царя и не жалеете себя для него. За это царица велела вас благодарить. Но чего ждете еще?

— За царский привет, боярин, спаси Господи. Мы рады за царей-государей всегда стоять, — ответил Черкасскому высокий черный стрелец с умным смелым взглядом. — А чего хотим мы, знаешь, мы не таимся. Мы царских ворогов и недоброхотов вывести хотим. Пускай царица прикажет выдать нам на суд наш, — как хотим, так и казним всех лиходеев и изменников. Допреж всего Нарышкиных, Ивана с Афанасием, за то, что на царя Федора и на царевича Ивана зло мыслили и царскую порфиру к себе примеряли; Ромодановского за то, что Чигирин турецким и крымским людям продал; Долгоруких, Михайла с Юрием, за многие неправды, которые чинили они нам, царскому войску: без уходу били кнутом, ссылали в дальние

города, чинили хлебную и денежную недодачу; дьяка Лариона Иванова за то, что с Долгоруким приличен, похвалялся — хотел нами без вины земляной город обвешать...

Стрелец продолжал читать по списку длинный перечень ближних царских людей, выдачи которых они требовали с обозначением их вин. Черкасский и другие бояре внимательно слушали его.

— Боярина Кириллу Нарышкина, стольников Льва и Федора...

Черкасский качал головой — всех близких царицы. всех — никого не оставляют. «Милославских рука — и семени оставить не хотят».

Стрелец наконец кончил.

— Мы перескажем царице, как она положит, так и быть. Кто виновен — накажем. А пока идите домой.

— Сейчас пускай нам выдаст! Мы ждать не хотим! — снова выкрикнула купленная свора подстрекателей.

— Сейчас нет при царице Нарышкиных и никого из тех, кого вы врагами считаете. Кого она вам выдаст? Идите, не пугайте царевичей, они еще младенцы.

К Черкасскому на помощь сошел Матвеев. Старый боярин наблюдал за переговорами и, увидев, что выборные стрельцы настроены довольно мирно, решил вмешаться.

— Здорово, молодцы!

— Будь здрав, боярин, — отвечали стрельцы, удивленно поглядывая на смелого старика.

— Вы что же здесь? Я вас и не узнал было, да вы стрельцы ли? Давно ли стрельцы усмиряли мятежи? Я помню, при мне не раз вы государю служили. Вы Стеньку Разина смирили. Чигирин отстояли стрельцы, и много заслуг я знаю за вами. Недаром служил я долго государю. И царским жалованьем, и вольностями, и почетом не избужены вы были от государей. А теперь вам, видно, наскучило царское жалованье да почет, что разом хотите заставить забыть все прежние заслуги? Хотите прослыть бунтовщиками, а не славными государевыми слугами? Одумайтесь. Коли чего недостает, чем избужены, скажите, я передам царице. Чай, мне поверите, что я не обману вас, хоть вы и чтите меня за лиходея?

Матвеев говорил громким ясным голосом. Его речь была далеко слышна, и она произвела на стрельцов впечатление. Боярина уважали и любили за его честность и справедливость.

Стрельцы скучились к нему. Выборные были забыты. Говорили все.

— Помилуй, боярин, как не верим!

— Сделай милость, заступись: Долгорукие царское жалованье грабят, во всем недодача!

— Полковники нас в холопей своих совсем обратили!

— Дьяки взятками замучили. Без посула ничего не добьешься.

— Заступись, боярин, мочи не стало! Посыпались Матвееву со всех сторон жалобы.

Он спокойно и внимательно слушал, ласково глядя на говоривших.

— Вот так, так... Что нужно, все я передам царице; она в обиды ваши вникнет и супостатов ваших без грозы не оставит. Чего недостает, все даст. И завсегда, коль в чем обида, нужда, сказывайте. А бунтом — что? Вы только царский гнев накличете. Одумайтесь вы да и ступайте, чтобы воровские людишки на Москве не думали, что славное стрелецкое войско заодно с вами мятежи-бунты чинит!

— Мы не мятежники, боярин!

— Мы только за царевича вступились!

— Мы против государя никогда!

— Верю вам. Прощайте, молодцы, помните, что я вам говорил. Коль нужен буду, что вспомните, покличете. И прощайте!

— Прощай, боярин!

— Спаси Господи на добром слове.

Матвеев с боярами поднялся назад, к царице. Стрельцы после его ухода как будто успокоились: крики смолкли, и снова заговорили о возвращении. Отдельные кучки стрельцов повертели к выходу.

Дело Милославских, казалось, было проиграно.

Растерявшиеся Милославские не знали, что делать.

Выход был один: провести несколько человек своих в самый дворец, пройти на Красное крыльцо, напасть на бояр и кинуть двоих-троих на копыя стрельцов, в расчете, что пролитая кровь, как хмель, ударит им в голову и снова поднимет толпу.

Так и решили. Кучка клеветов «князя-лисы» проскользнула во дворец, но они еще не успели осуществить свой план, как случай и неумная молодость Михайлы Долгорукова (сын начальника стрелецкого приказа и его «товарищ» по приказу) сделали его, в сущности, излишним.

Недаром молодого сына князя Юрия прозвали «Михайло — долгия руки, короткий ум».

Неумный и чванный своею должностью товарища приказа вдруг надумал разыграть грозное начальство.

Воспользовавшись спокойствием стрельцов, он подошел к краю крыльца и заговорил грозно, начальническим тоном:

— Слушайте, вы, воры. Кто вас привел сюда? Что вам здесь нужно? Да как вы смели выйти самовольно, без полковников? Как смели в Кремль явиться без кафтанов? А? Батогов захотели? Так я вам прикажу дать. Крамольничать, воры. Расходись! Вон из Кремля! Зачинщиков перевязать и в приказ, слышали?

Речь Михайлы, нелюбимого стрельцами, чрезвычайно раздражила их, но они еще сдерживались.

— Молчи, боярин, мы тебе не холопы, — крикнул ему кто-то.

— Да я вас своим холопам в холопы отдам. Вы — воры низовские, а не стрельцы. Воры. Всех велю заутра на...

Но кончить ему не пришлось.

Взбешенная последними оскорблениями толпа вдруг заревела. В один миг решетки, огораживавшие крыльцо, были сломаны и передние стрельцы вбежали на крыльцо.

Царица вскрикнула и, прижав к себе обеих царевичей, бросилась в дальний угол. Бояре сжались кучей около нее.

Сам Долгорукий побледнел и тоже хотел бежать, но не успел. Стрельцы схватили его на руки, подтащили к краю крыльца и, раскачав, бросили вниз — в толпу.

Нижние приняли его на острия копий, и боярин с коротким жалобным стоном осел на копьях. Потом мертвого или полумертвого сняли с копий и изрубили бердышами.

Не успели еще сойти убийцы Долгорукого с крыльца, как из сеней Грановитой палаты выбежала кучка стрельцов, ранее посланная Милославскими.

Они подбежали к стоявшим еще на крыльце царице и боярам и, схватив Матвеева, поволокли вниз.

Черкасский и царица уцепились за него. Боярин успел вырваться и, бросившись к царевичам, схватил под руку Петра. Стрельцы вырвали.

— Пожалейте, пощадите старика, — со слезами просила за своего приемного отца царица.

Но убийцы оттолкнули ее и продолжали волочь Матвеева к месту, откуда только что сбросили Долгорукого.

Царица, закрыв лицо руками, бросилась с рыданиями в угол. Царевичи плакали. У многих бояр на глазах показались слезы.

Стрельцы дотащили Матвеева, столкнули вниз. Старик полетел прямо грудью на копьё.

Озверелые, пьяные от крови, стрельцы с криками прикончили его.

Бояре, опомнившись, в ужасе бросились во дворец, унося царицу с детьми.

Стрельцы, окончив свое дело, всей массой с ревом ринулись искать Нарышкиных. Целый день стрельцы оставались полными хозяевами Кремля. Они искали всюду: в покоях царицы, царевен, перерывали все вещи, постели. В церквях забегали в алтари, искали под престоломи и жертвенниками.

Убили Федора Салтыкова, приняв его за Афанасия Нарышкина. Убили князя Григория Ромодановского, дьяка Лариона Иванцова. Убивали всех, кто попадал под руки. Всех, найденных во дворце, вытаскивали на Красную площадь и тут убивали.

Тех, кого убили не в Кремле, приносили в Кремль мертвыми и здесь ругались над ними.

А у Кремля стояла бледная от ужаса толпа, терроризованная стрельцами, не смевшая уйти или молчать. Смотрела и на крики стрельцов после каждого убийства: «Любо ли?» — кричала: «Любо!»

Третий день продолжается кровавый пир.

Пьяные от вина и крови, стрельцы бродили по городу, разыскивая утаившихся врагов.

По пути разбивали кабаки, и грабили случайных прохожих.

На окраине, где жили Ивашка с Дарьюшкой, с тревогой ждали исхода событий. Старик Гаден совсем разболелся и в горячке лежал в чулане. Дарьюшка, уже забывшая, что это колдун и чернокнижник, заботливо ухаживала за стариком. Сын Гадена сидел около него, угрюмый и мрачный: он плохо надеялся на спасение. Иногда и Дарьюшка смотрела с тревогой из калитки избенки.

И вчера, и нынче близко бродил ее черный преследователь. Дарья знала, что это стольник Петр Толстой, принимавший деятельное участие не только в подготовке бунта, но и во всех стрелецких убийствах.

И догадывалась, что он на этот раз не ради нее одной.

Он что-то учуял: вероятно, подглядел иноземцев.

Тревога Дарьи была бы еще сильнее, если бы могла знать, что еще вчера стольник заглядывал в оконце чулана.

Сегодня Дарьюшке особенно не сидится. Сердце болит. И особенно ласково ухаживает она за немцем.

Вот точно шум какой донесся издали.

Да, верно. Кричат. Ближе!

Вот можно уже разобрать отдельные выкрики:

— Туда... Там, слышь!

— Кто?

— Дохтур... Колдун... Гаден.

Мануэль бледный вскочил с места:

— Нашли...

Он заметался по чулану, не зная, что делать. Дарьюшка, убиравшая в своей избе, замерла и, вся вытянувшись, прислушивалась к страшному шуму.

— Идут... За Гаденом! — кричал кто-то издали. — Толстой ведет... У кружала остановились...

Это прибежал стрелец-деверь. Крики, наконец, дошли до ушей больного. Он поднял голову.

— Идут... Ну, воля Божия, — слабым голосом прошептал

он. — Пришел час... А про сына-то знают? — с тревогой спросил он подошедшего к нему стрельца.

— Нет, кажись. Одного тебя поминают. Должно, не подглядели молодого-то.

— Слава Господу... Смилоствился. Ну, так его, коль можно, поберегите, а мне помогите-ка встать... Спаси вас Бог за жалость.

— Куда ты... На ногах не стоишь, — остановил было его стрелец.

— Ничего. Навстречу пойду... Как-нибудь пройду шагов десятков. Да поскорее... Скорее нужно.

Дарьюшка поднимала старика: в самом деле, он-то пожил. Нужно молодого спасти, и стала поднимать Гадена.

— Ты куда? — встревожился отец. Мануэль стал накидывать опашень.

— И я пойду, помирать, так вместе.

— Ни-ни... Не отравляй мне последнего дня. Мне уж и так пора: умираю. Дай, я благословлю тебя.

И старик положил руку на голову сына.

Дарьюшка и Мануэль плакали. Стрелец тоже смахнул слезинку.

«Ишь, немец, а в Бога верует, а еще говорили: черно книжник», — подумал он.

Но медлить было некогда.

Шатаясь, вышел Гаден из ворот и пошел навстречу смерти. Он торопился отойти подальше, чтобы отвести беду от добрых московитов. Если встретят не близко, так займутся одним им и забудут об укрывателях.

Вот буйная толпа совсем близко. Старика заметили.

— Здесь он! Держи... Вот он, колдун-то...

Толпа с яростью бросилась на «отравителя». Его разорвали бы в клочки, если бы не начальник отряда.

— Не трогай... Поведем в приказ... Говори: ты дохтур Данила?

— Я...

Его связали и поволокли почти волоком.

Толстой что-то говорил стрельцам, но его не слушали, и стольник недовольно нахмурился.

Его план не удался. Натравить на Ивашку не пришлось.

О Мануэле он не знал, и науськать на обыск было невозможно. Он, однако, вернулся, чтобы кинуть угрозу:

— Погодите, вы, укрыватели... Доберусь еще я до вас... Но Дарья его не слышала: она плакала навзрыд.

А Ивашки не было и дома.

Где же был в это время Ивашка?

Любопытство вместе с надеждой помочь какому-нибудь горюну заставило его все дни толпиться среди буйной толпы стрельцов. Правда, еще в первый день он убедился, что едва ли что можно сделать с пьяными стрельцами, которых так ловко умели разжигать ловкие «людишки» Милославских.

Сколько просил он вместе с Юдиным не позорить Божия храма, когда из-под самого престола лепной церкви Воскресения тащили Афанасия Нарышкина и затем рассекли на части на паперти.

Не послушали...

Минутами ему казалось, что стрельцы трезвеют, но стоило какому-нибудь «вору» из купленных «князем-лисой» бросить ядовитое словечко — и снова хмель убийства туманил голову.

К боярину Петру Салтыкову ходили просить прощения за то, что по ошибке убили его сына стольника Федора.

С такой же целью ходили к старику Юрию Долгорукому, каясь, что «бес попутал». Разозлил их Михайло и они по дьявольскому наущению не удержались... убили его во зле — и теперь жалеют. И кланялись в ноги.

А после этой сцены покаяния убили самого старика и выбросили его труп в навозную кучу.

Какой-то холоп наговорил ушедшим стрельцам, что-де грозит князь; молвил-де невесте: «Не долго им бунтовать, скоро будут висеть на зубцах Белого да Земляного города... Шуку-де, съели, да зубы остались...»

И за эти неосторожные, может быть, даже не сказанные слова, князь заплатил жизнью.

Все время умелая рука управляла безвольной толпой, и эта рука не знала пощады.

По списку все должно быть выполнено...

Эта рука предала и Ивана Нарышкина, который считал себя в безопасности в чулане вдовы-царицы Марфы Матвеевны.

Софья первая стала настаивать на его выдаче: «Брату твоему не отбыть от стрельцов; не погибать же нам за него всем», — говорила она царице Наталье...

Ей поддакивали бояре и настояли на своем. Даже когда Наталья после соборования и причащения Ивана слишком долго прощалась с братом, не имея сил оторваться от него, ее торопили.

— Сколько вам, государыня, ни жалеть, все отдать придется. А тебе, Иван, скорее бы идти, а то нам за тебя придется погибнуть, — говорил старик Яков Одоевский.

И Иван пошел на пытки и смерть. С ужасом следил за ним Ивашка, когда его тащили в Константиновский застенок, потом на Красную площадь.

Темный, стоял с маленькой кучкой стрельцов-единоверцев, когда рубили на части молодого Нарышкина, почти мальчика.

Кругом толпа ликовала, смеялась.

— Любо ли?.. Любо ли?..

— Любо...

И только одна-две кучки сумрачно молчали на пьяные крики.

Прибежал, звеня веригами и крестясь большим крестом, юродивый Никита, один из учеников Аввакума, с образом Богородицы, с которым вышел из церкви Спаса Иван Нарышкин.

Его побледневшее лицо теперь светилось жалостью и скорбью: он не смог или не хотел скрыть свое подлинное лицо под обычной маской бессмыслия и смотрел скорбящим пророком.

Вот он собрал в руку несколько капель крови и брызнул в толпу.

— На страдание крещу... Сварили кашу из крови... Смотрите, как хлебать-то придется. Отслужили бесу обедню, милости он него ждите, — кричал Никита, стараясь отрезвить толпу, которая любила его слушать.

И потом падал на землю, целуя икону Владычицы, и шептал, сбиваясь с обычного тона.

— Обидели тебя, матушку. Обидели... Кровью Твой лик чистый забрызгали, окаянные... Предали Сына Твоего на растерзание...

Ближайшие к Никите стрельцы, смущаясь, отходили, но толпа продолжала ликовать.

— Проймешь их, — ворчал сосед Ивашки, — коли церквей своих не жалеют: престол чуть не опрокинули у Спаса... Остановишь ли их, бесноватых.

Ивашка окончательно решил бежать скорее из ада кровешного и вдруг застыл.

На ту же площадь тащили Гадена.

— Нашли, — вздрогнул Ивашка.

Запачканный грязью, покрытый кровью, старик, видимо, уж не сознавал, что около него происходило.

Пытка в Константиновском застенке погасила последние остатки и без того еле теплившейся жизни.

— Отравитель... Сознался... В пытке все показал... «Ядом, — говорит, — змеи персидской с дурманом царя опоил», — слышались голоса...

Дохтура бросили на плаху. Ивашка стоял с широко открытыми от ужаса глазами.

Он не слышал, как кто-то подошел к нему и ударил его по плечу.

— А-а! а вот и утайщик, тот, что колдуна-отравителя спрятал... Ну-те, братцы, и его.

Ивашка взглянул помутневшими, непонимающими глазами. Перед ним был Петр Толстой.

Иван почувствовал, что надвигается гибель. К его счастью, толпа была слишком занята казнью «кудесника».

И спасение подоспело... Стрелецкий сотник из Воробьиная полка, стоявший в толпе тех, «кому не было любо», быстро подошел к Толстому.

— Укрыватель, говоришь? Взять его и отвести в приказ. Допросить надо.

Три стрельца окружили Ивашку и повели.

Петр Толстой снова проиграл: Ивашку уводили хоть, правда, в тюрьму, но представится ли другой случай сделать вдовой красавицу из Марьиной рощи, кто знает.

Он пошел, однако, следом за стрельцами из боязни, что Ивашку выпустят: он чувствовал, что стража не из тех, кому нравилась заваренная Мирославскими крутая кровавая каша...

Сзади снова донеслись те же крики: любо, любо!

Это умирал под топором «колдун», лучший и честнейший из лекарей допетровского времени.

Кровь Ивана Нарышкина и Гадена была последней.

Хмель проходил. Кровавые воды дошли, наконец, до души самых пьяных.

Да и список был закончен. Подстрекатели временно могли отдохнуть.

У патриарха В келье

Патриаршая келья давно перестала быть в собственном смысле монашеской кельей.

Правду Снегирев пишет в своих «Памятниках» о «скромном жилище святителя всей России», которое будто бы «состояло из двух небольших комнат со стрельчатыми сводами...»

Но он, кажется, забыл, что, кроме этих палат, были еще вовсе не малые «брусняные хоромы» второго этажа. Да и эти малые верхние хоромы вовсе не обличают большой иноческой скромности.

Сейчас мы в «комнате», т.е. кабинете, где святитель занимается делами.

Кабинет гораздо больше того, в каком видели мы царя Алексея.

Стекольчатые окончины (рамы), нарядные, с травами и птицами «в фигурных с орликами» рамах, уже одни показывали, что денег для «наряду» не жалели: стекло, тем более «знаменное», т.е. расписанное, стоило по тому времени больших денег.

Стены кабинета расписаны «бытейским письмом» — притчами евангельскими; на одной из стен висели два фряжских листа «козмографии». В переднем углу стоял стул «вседневный», т.е. не парадный, однако резной и крытый золотом. Под ним подножье — «лоскут писцовый белый черевей на тафте...»

Весь пол убран коврами.

На столе, рядом с чернильницей, шкатулкой черного дуба и печатью, на шелковом шнуре — серебряно-вызолоченные зубочистки и ухвертка.

В углу поставец, «навожен красками». В нем кубки серебряные, склянки немецкого дела, «горшчки и барашки мурамленные»¹⁵, кружка чеканная золотая, два кувшина визанцеевские». И чудное творение Бенвенуто Челлини... Жемчужные раковины в виде женской груди, а над ней золотая, украшенная эмалью, головка, покрытая, вместо волос, тремя змеями. Две змеи уязвляют грудь... На голове два алмаза. Лагалище¹⁶ подложено бархатом зеленым. Фигура на стоянце восточного хрустала с поддоном. Стоянец обложен золотом и эмалью. Вместо ножек четыре золотых с эмалью личины.

На стене часы с писаным золотом кругом.

И в стороне библиотечка, в которой вместе с «Кормчей» лежали: «Дохторская книга» и знаменитый «Лиоцидариус», полный темных и невежественных рассказов о том, как земля устроена и как на ней люди живут. И по правде сказать, святитель и Иоаким и даже Никон более верили рассказам этой книги о пупе земли и о людях, «не имеющих головы, а только на груди дыры», чем странному для них «чертежу» великой «козмографии».

В данную минуту святитель сидит за своим столом, с интересом слушая, что ему докладывает дьяк, Яков Позднышев.

— Как ты там написал «аз», прочти и добро.

— Хм... — откашлялся дьяк.

«Статья первая: Которые раскольщики святей церкви противятца и хулу возлагают и в церковь к пению и ко от-

¹⁵ «Муравленный» — здесь: расписанный, пестрый.

¹⁶ «Лагалище» — здесь: вместилище.

цем духовным на исповедь не ходят, святых Таин не причащаются и в дома свои священников со святынею и с церковной потребою не пускают и стоят в том своем упорстве упорно и тех воров пытатъ, от кого они тому научены и сколь давно, и на кого они станут говорить, и тех оговорных людей имать и расспрашивать и давать им меж себя очные ставки, а с очных ставок пытатъ, и которые и с пыток начнут в том стоять упорно ж, а покорения ж св. церкви не принесут, и таких за такую ересь, по трикратному у казни вопросу, буде не покорятца, жечь в срубе и пепел развеять...

Статья четвертая: Которые люди ходили по деревням и людей, которые в совершенных и малых летах перекрещивали и прежнее святое крещение нарицали неправым, а перекрещенье вменяли в истину и тех воров, которые перекрещивали, хотя они церкви Божьей и покоренье приносят и отца духовного и св. Таин причаститься желати будут истинно и их исповедав и причастив, казнить смертию без всякого милосердия».

— Безо всякого милосердия, — довольным тоном повторил патриарх.

— Добро... Коли царевна сии статьи подписанием утвердит, мы воистину зло пресечем у корене...

Вот у меня и ноне в погребу двое из таких-то. Одного-то, должно, сожгут, а другого-то не хотят. Он, мол, мятежу не чинил, а чего бы разбирать: оба братья родные, ведомо, одно творят. Одна сорная трава...

— А что, как стрельцы-то: баламутят их, — обратился святитель к дьяку. — Коли бы их поднять, небось, статии-то тогда обеими руками подписали, с перепугу...

— Слышно, мутятся. Да здесь, кажись, внизу в подъяческой Иван Ушак: он лучше тебе доложит, владыка святой.

— Ну? Здесь? Позови-ка его сюда. Давно не был...

Хитрая, скользкая фигурка подъяка проползла в дверь. Подъяк сотворил метание и встал близ стола.

— Ну, докладывай... Что вы там творите?

— А все, государь, ладно...

— Мутятся?

— Я тебе уж, государь, сказывал. На голке, в Титовом полку, порешили подать о вере челобитную, чтобы государь восстановил правую веру и честный крест. Чернослободец Семен Калашников сулил челобитчика выискать.

— Ну, слышал... Сергия выискали!

— Выискали... Спервоначалу его, Савву Романова, просили, а он инока Сергия указал. Тот писал всю ночь и, слышно, вельми слезно. Коли читал, так все плакали...

Владыка нахмурился...

— Слыхал я эти сказки...

Взглянув искоса на патриарха, поддьяк понял, что хвалить Сергия, даже в передаче чужого мнения, не следует, и поторопился добавить:

— Мой холоп слушал, говорит, одни-де пустые слова и вежества нимало.

— Ну? Потом что? Ты говоришь Сергия-то сменили?

— Точно, к Хованскому ходили. Тот похвалил. Но для спору Сергия не одобрил. Вижу, говорит, что ты больно смирен и тих, не речист, и ухватился за Никиту-попа. Порешили прения требовать и чтобы скорее, до венчания царского.

— Да ты что про старое все... Мы и царей уже неделя, как повенчали, а ты старое воротишь!

— А докладываю, что не успел прошлый раз узнать. После венчания еще созвали голку, опять в Семена Титова полку, и положили написать челобитную покрепче да ширше. Написали в двадцати столбцах. И по приказам ходили, за рукоприкладством к челобитным.

— А стрельцы-то что?

— Больше половины согласны, а восемь не хотят, хоть и говорят: «По-старому, мол, чтобы вешать и казнить, не дадим...»

— Не дадут... Так? Значит, встанут?

— Нет. Не под силу им, владыка святой, встать. Не отдохнули еще. Всю свою силушку на Дмитриев день уложили. И ноне их не поднимешь. Что хочешь, то и делай! Кабы Хованский поумнее был, он бы и не зачинал теперича: отдохнуть бы дал...

— Зато мы в дальний ящик не отложим, поторопимся, а потом и прихлопнем статиями..., — с угрозой пошутил владыка, хлопая по свиткам будупщих 12-ти статей.

— А выборные? — снова начал он расспросы.

— Выборные ежедень пьяны. Ноне, ради того, что к тебе в гости пожалуют Хованский с товарищами, их поят в крестовой палате. Они и пришли пораньше. И уж угостились...

— Ноне придут? Вот что? Будем, значит, гостей ждать. Они что же мешкают? Скоро трапезовать надо.

— Ждут, как Хованский от царевны принесет приказ идти к твоей святости.

— Ладно... Иди, коль. Что-то мне потрапезовать даст Тихон. Вторник ноне...

— Вот, владыка святой, принесли роспись.

Подскочил один из полутысячи патриарших стольников.

Иоаким, забыв о делах, с нетерпением стал читать роспись — меню, нововведение, какое не знала тогдашняя Русь. «Вторник, иулия 3 день. Икра зернистая. Икра белой рыбыцы. Вязига под хреном. Прикрошка телная. Присол щучей. Присол стерляжей. Щука паровая. Лещ паровой. Язь паровой. Линь паровой. Схаб белужий. Кружок телный. Збитень. Шти с кашей. Уха окуневая. Пирог косою. Уха карасевая. Пирог с телесы. Потрох. Пироги долгие. Щука колодка. Пироги подовые. Звено белой рыбыцы. Пышки. Пол головы осетрьи. Олады путные. Звено ставное. Сырники. Блины тонкие. Блюдо карася. Блюдо пренья».

— Ладно... Хорошо, что, калья-то¹⁷ есть?

— А вон, кажись, два святителя идут... Не позвать ли их потрапезовать... Вели, Петр, прибавить еще что. Да ренского и романеи подать, как на гостях.

Вошли митрополиты — нижегородский Филарет и астраханский Никифор.

Иоаким поднялся им навстречу и облобызался по-гречески.

— Прошу гостей в садишко... В палатку... — пригласил он, и три святителя поднялись вверх, в сад.

Да, *поднялись*.

Смиренная фантазия Иоакима пожелала иметь верховой сад.

Он помещался *на крыше* казенной палаты. На бревенчатом мосте.

¹⁷ Калья — похлебка с паюсной икрой и огурцами. Акад. слов., II. С. 320. — Прим. автора.

Насколько скромнен был этот «садишко», видно, например, из того, что в 1676 году туда для рассадки покупали: 30 тюльпанов вялых, 21 куст маку дивьяго, миру 16 кустов, турецкого ромаку 20 кустов, салату турецкого на 10 алтын, свеклы на 10 денег, 2 куста дымных. Сажали, кроме того, горох и бобы.

Владыки поместились в палатке...

Побеседовать, однако, не удалось.

Тот же Яков Позднышев, доложил, что, мол, «идут, ждут в сенях Крестовой палаты».

Патриарх, не успев досказать о своих планах выстроить «чердак деревянный на столбиках точеных с резными подзоринами и четырьмя точеными яблоками», — спустился вниз.

У дверей в большой крестовой палате кучкой стояли стрельцы.

Многие были здесь в первый раз и с любопытством смотрели в открытые двери на иконостас передней стены, весь уставленный иконами, особенно на чудный образ «Не рыдай мене мати» и «Отечество в силах».

И на патриарший золоченый стул...

— Вот здесь, слышь, был образ св. Анны, что в Кашине. Той, что святости патриарх обнажил. Его сняли и сожгли, слышь... А вправо, вместе с Николой Можайским, был Ефросин Псковский. Тоже сняли, персты, вишь, не ладно сложены, — разъяснил седой стрелец.

При входе патриарха со святителями все умолкли, некоторые выборные подошли под благословение, посадские не двинулись.

— Пошто, братие, пришли к нашему смирению, — строго спросил Иоаким, проходя к расписанному столу.

Отвечал Хованский:

— Пришли к твоему благословию всяких чинов люди; побить челом о исправлении православной веры, чтобы служба была в соборной церкви по старым книгам...

Иоаким молчал... Ему речь заготовил раньше астраханский Никифор, но Иоаким не отличался находчивостью и не собрался ответить сразу.

— Говори ты, — обратился Хованский к стрельцу Юдину.

— Мы пришли, святейший патриарх, к твоему благослове-

нию. За что старые книги отринуты и какие в них ереси обретаются, чтобы нам про то ведомо было.

— Чада мои и братья! — ответил патриарх Иоаким, успевший припомнить никифорову запись, — не надобно вам судить и простого человека, кольми паче архиереев: они образ Христов. Вы простого чина воинского люди и это дело вам не за искуc. Не я вам патриарх и не сам себе такую туготу восхитил, и не накупился на престол, а избран повелением великого государя и всего священного собора... Вы должны нам повиноваться, а вы вместо того нам прекословцы в непослушании являетесь. Вы порицаете нашу веру, называете нас еретиками. Никакого повреждения в вере не сделано, книги исправлены согласно греческим, древним славянским и Божественному разумению; триперстный крест утвержден собором и восточными патриархами и не сами мы все завели, но опять же от Божественного Писания.

Отвечал Павел Даниловец — посадской.

— Истину глаголешь, патриарх: епископ — Христов образ. Только ты запямятовал: и мы же Христовы телеса. И народ, хранитель верный благочестия. А еще скажу: носишь ты Христов образ. А Христос, помнится мне, рек: научитесь от Мене, яко кроток и смирен сердцем, а не срубам и казнями грозил. Велено начальникам служить, да не всех слушать. И ангела, если не право возвещает. Что за ересь — двумя перстами креститься, по преданию. И в божество и человечество крестимся. Зла тем не творим, от Божественного Писания сие творим. За что тут вешать и жечь?

— Мы за крест и молитву не жжем, — отвечал Иоаким, — а за неповиновение сожигаем.

— Понял. Жжете за неповиновение. А неповиновение в кресте и молитвах. Будто, святой владыка, на одно выходит.

— И не мы жжем... Приказ-то судит, а для казни отдаем градскому суду, — поправился святитель, поняв, что сказал не ладно.

— Так, святой владыка. И Иуда не распял Христа, а только Пилату предал. И Пилат «умы руце»: не повинен,

мол, в крови Праведного... Или и вы мнитесь быть правы, убивая Христа чужими руками?

Глаза Иоакима вспыхнули злым огоньком, но ответить он не нашелся.

Только «записал у себя в сердце» слова смелого мятежника.

— Градской суд казнит, — говоришь ты, — продолжал Павел. — А вот ноне проходил я мимо твоего низу. Мимо подьяческой. Внизу стон и плач...

Слышь, какой-то из наших умирает... Замучили на пытке. Он-то уж молчит, а брат его еще кричать может...

— Ты чей? — резко прервал патриарх.

— Посадский.

— А звать?

— Павел.

— Так!

— Ты вот сказываешь, святейший патриарх, — вмешался стрелец Савватий, — что не за веру у вас мучают, а святитель нижегородский морит в тюрьме диакона Иосифа и старцев Питирима и Игнатия и жесточайше томит, предавая хребты их на раны и плечи на биение.

Митрополит новгородский стоял тут же, но молчал.

— А ты кто? — тем же звенящим угрозой голосом спросил Иоаким.

— Савватий зовусь.

— Посадский?

— Стрелец.

Патриарх снова умолк: вместо ответов — только «составлял списки».

Спор продолжался, но вяло и лениво: стяжатели старой веры понимали, что здесь говорить не с кем и не о чем и просили собора. А патриарх упорно думал о калье и о пироге с телесы.

— Ну, идите, отцы честные, с миром... Царский указ о соборе, коли соизволит царевна, князь в приказы пришлет, — заторопился патриарх.

Все вышли хмурые и недовольные, понимая, что перед ними стена — холодная и мертвая, не слышащая голосов, смущенной совести и болеющих желанием мира душ.

Святители пошли трапезовать.
Снизу неслись чьи-то тихие стоны¹⁸.

Внизу

При патриаршем доме не было тюрьмы. Ввиду этого Никон и Иоаким обратили во временные тюрьмы погреба каменные, расположенные как раз под подъяческой палатой и под помещениями тех судных приказов с семью судьями, о каких писал Павел Алеппский.

И никогда погреба не служили такой усердной службы, как около 1685 года.

Впрочем, там немного.

На земляном полу кто-то стонет. Но кто? Не видно. Золотая полоска света освещает только узенькую полосу среди тюрьмы.

— К солнышку бы..., — слышатся стоны. Кто-то другой с усилием передвигает несчастного. Вот он и в светлой полосе. Теперь его видно.

На лице печать смерти: он, видимо, не мог выдержать пытки. Руки мертвые, выдвинутые из суставов, лежат по бокам покрытого кровавыми рубцами тела.

На лице на минуту скользнула тень радости: умирающий обрадовался лучам солнышка. Радость скользнула и померкла.

— Испил бы ты, — глухо говорит пересохшим голосом кто-то другой. Говорящего все еще не видно. Он за пределами светлой полосы...

— Попа бы мне... Придется умереть без попа..., — тоскливо жалуется первый.

¹⁸ Есть миссионерская книга, излагающая прение 3-го и 5 июля. Она зовется «Никита Пустосвят» Историч. событие. Содержание прения изложено здесь фантастически и лживо. Насколько невежествен автор книги, показывает, например, следующее: патриарх Иоаким ссылается на послание ап. Павла к Кириллу и в скобках цитирует (1 Кор., 4:1). Афанасий Холмогорский ссылается на Митрологий, издан. в 1727. А Никита цитирует «Поморские Ответы».

— Как его приведешь сюда, попа-то, в волчьи палаты. Ну, да погоди... Придет Даша — я ей скажу. Может, и найдет... Сторож-то тут добрый: кабы деньги, — пожалуй, и выпустил бы:

— Дарья отца Никиту призовет или кого... Поп... про... си..., — сквозь силу процедил умирающий. — Будь милостив...

И впал в забытье.

Один из заключенных, конечно, Ивашка.

Кто же другой?

Наш старый знакомый — брат Ивашки, пскович Игнатка.

На несчастье Ивашки, он оказался вместе с ним в приказе, и родство, которое они не скрыли, было весьма опасно. Недаром, по логике Иоакима, братья — так одна негодная трава.

И, может быть, именно ради брата, опасного мятежника, Ивашку «били кнутом и железом жгли».

Но пытка для него была легче, и он выстоял, — хотя, конечно, весь искалеченный и измотанный.

И теперь думал о брате и о том, как достать попа.

Разговор, доносившийся сверху, вывел его из раздумья. Он узнал голос.

«Это он, ворог... Толстой», — догадался Ивашка.

Говорил в самом деле Толстой с Позднышевым.

— Как ваши птицы поют? — Спрашивал стольник.

— Каки птицы? Патриарховы попугаи, что ли?

— Ну... Те птицы, что внизу?

— А-а-а!

— Их дело приказ порешил.

— Как? Слабенец приказ-то. Чай, в монастырь на работы...

— Нету... Ведь это перекрещики. Решили нещадно. Вот у меня указ-то.

— Ну-ка...

Дьяк вытащил из-за пазухи свитки. Ивашка с трудом поднялся на вывихнутом локте и стал напряженно слушать...

«...И вот тот Игнатка Дмитриев, посадский из Пскова, на пытке в расспросе говорил: «До псковского-де пожару жил он во Пскове у товарища своего у Мартинки Кузмина и живучи учил его старым книгам Кирилла Иерусалимского да книгу «О вере», а он-де, Игнатка, верует тем книгам, которые сперва печатаны блаженной памяти при государе царе

и великом князе Алексее Михайловиче всея Великия и Малыя и Белыя России самодержце, а соборной-де, апостольской церкви он, Игнатко, ни в чем не повинуетца и святых животворящих Христовых Таин причастия нынешними просфорами не хочет и новоисправленным книгам греческого закону не верит и четвероконечному кресту не поклоняетца».

Да он же, Игнашка, винился и говорил: «У псковитянина-де, посацкого человека, у посацкого у Павелка Корнышева крестил он, Игнатко, во дворе его в избе младенца — девочку по старому Требнику в три погружения, тому назад лет с пять, а нарек имя ей Евдокеей, а восприемники-де были у того крещения тетка его, Павелкова вдова Феодосьица, а кум-де был он, Игнатко сам: он же, Игнатко, в том же году за Михайловскими воротами на Троицкой мельнице крестил у мельника у Кирки младенца девочку же, а нарек имя ей Евдокеи же.

Боярам сие чтено.

И великие государи и сестра их великая государыня благородная царевна указали и бояре приговорили:

Велеть вора и раскольника зажечь в костре, сказав ему вину его и пепел разметать и затоптать...»

— А-а-а! — разнесся по погребу тихий стон Ивашки.

— Дальше, про другого-то, скорее, — торопил столтник.

«...А Ивашка Дмитриев, Соловецкого монастыря бунтарь, с пустяки показал..., — быстрее зачитал дьяк. — Ну, это не важно... Вот... «Бояре приговорили...» «Велеть...»

Ивашка не слышал приговора. Он мертвым пластом повалился на пол.

Ивашка не слышал конца сурового приговора, который читал Позднышев. Не слышал он и разговора около его погребка после ухода дьяка.

Говорил тот же Толстой с кем-то другим, или, вернее, другой: ему отвечал испуганный и измученный женский голос.

— Муженька пришла навестить... Так. Не долго уж. Скоро будет на площади кнутом бит и в дальние города сослан, коли ранее от кнута не сдохнет...

Собеседница (это была Дарьюшка, пришедшая навестит мужа) вздрогнула.

— Боярин, родимый, пожалей, — кинулась она в ноги стольнику, — попроси... отпусти ты его мне...

Дарьюшка рыдала, целуя цветные сапоги Толстого.

— Приходи ко мне сегодня вечером — поговорим..., — Дарья отшатнулась и приподнялась с земли.

— Не пойму, что говоришь?

— А поймешь... Приходи, поживи у меня недельку — потом отпущу: еще с подарочком отпущу. И мужа вызволим... Живи себе мирно, никто не тронет... Аким ко мне милостив...

Дарья поняла. Бледная, встала она перед патриаршим холлом. Ее шатало.

— Бог тебя накажет, что над бедным человеком глумишься... Не попустит тебе Владычица.

И Дарьюшка отошла от «дьявола».

— А ты все-таки подумай. Авось и надумаешь..., — смеялся стольник.

— Небось вечером придешь. Так спросишь около Власия на Арбате: где, мол, тут Толстой живет?

Дарьюшка, обессиленная, измученная, опустилась около крыльца подъячьей палаты.

До ее ушей доносились стоны, и они рвали ей сердце.

«Он, верно, стонет, Ванюша мой... замучили, изломали, чай... А помочь нечем... Приди, говори...»

К ней подошел патриарший сторож.

— Что он тебе пел, стольник-то, — начал он. Дарьюшка кое-как рассказала.

— А, поганец! Отпущу, мол, как придешь. А как он отпустит?.. Где у него сила отпускать-то? Вот мы можем, потому ключи у нас... И тебя на грех соблазнять не будем. Дашь полсотни рублей — и все будет честь-честью. Твоего мужа выпущу ночью. А сам на низ уйду. Я один, как перст; чего мне тут сидеть? Сладкого мало.

— Полсотни... Нету у меня ничего... Какие полсотни. Все бы отдала, да нет...

Сторож отошел, и Дарья осталась одна с своей тоской.

«Господи, научи, что делать... Коли идти? Грех-то какой, Господи! Ведь измучают. Сожгут».

— Дарья! Ты? — донесся до несчастной женщины слабый голос.

Дарья прильнула ухом к знакомой двери.

— Попа найди... Поскорее!

«Попа?» — Дарьюшка обмерла от горя.

— Неужто помирать хочешь?.. Ванюша, что ты? — Она готовилась уже заплакать, как по покойнику.

— Не я. Братец умирает... Попа просит, чтобы по правой вере был. Найди... Никиту попроси...

— А как введу-то, Ваня. Не позволят.

— Попроси. Может, пустят... Подари что...

Сторож снова подошел к Дарье послушать о чем речь: запрету на разговор не было.

— Принеси полсотни: пушу и попа. Да что — обоих, коли хошь, выпущу; мне все равно — не жаль... Поищи, может, найдешь.

Дарья, не сознавая себя, отошла от двери и машинально пошла к Спасским воротам.

«Надо попа... Где? Никиту найду, да пользы-то что, не пустят», — почти вслух говорила она, в отчаянии хватаясь за голову. — Полсотни, полсотни... полсотни, — звенело у ней в ушах... Господи, пошли смерть скорее... Или идти к нему, к срамнику, может, простит Господь. Нет. Нет! Умру лучше...»

И снова чудились пытки, дыба, кнут; ее Ваня, покрытый кровью. Разлука с ним.

Все по-прежнему, она шла туда. И не заметила, как оказалась около своей избы.

«Владычица, спаси!» — кинулась она к киоту. Забыв все молитвы, она о чем-то просила Царицу Небесную... Плакала, снова начинала молиться. И потом в отчаянии кинулась к иконе Владычицы, чтобы поцеловать, облить слезами Ее ризы.

Киот пошатнулся. Что-то звякнуло и покатилося по полу.

«Что это?»

И вдруг вздрогнула от радости:

На полу лежал серебряный слиток отца Корнилия.

«Послала Владычица... Царица Небесная... Выкупила», — шептала Дарьюшка, обливаясь слезами.

Она слышала о слитке от мужа, но успела забыть о нем. И вот он здесь. Дарья понимала, что откуда бы он ни явился, этот слиток, — все равно. Совершилось чудо. И плакала от счастья: Владычица смилостивилась, значит, и Ивашка будет свободен.

Она торопливо пошла искать отца Никиту.

Великая пря июля 1682 года

Со времени бунта прошло полтора месяца, и Кремль снова наполнен «чужими», снова на Красной площади толпа. Но на этот раз толпа пришла не за тем, чтобы убивать и грабить. Она пришла сюда разрешить свою религиозную смуту. Новшества Никона смутили народ. Народная масса не знала, кому верить. Сердце даже тех, кто не пошел за стоятелями старой веры в их мученическом бунте за правду отцов, лежало к старым книгам, по которым молились отцы и деды, к старым обрядам. Многих уже не тянуло и в церковь — новшества вызывали сравнения, наводили на грешные мысли. Жалко было старого. Но открыто встать против нового, отказаться от новых книг — многим мешал авторитет царя, признавшего новшества, и привычка слушаться владык.

Часть, более сознательная, давно поняла, что оставаться с владыками, «раздравшими церковь», грех. Но многие еще недоумевали: куда идти — на чью сторону встать?

И сегодня, 5 июля 1682 года, надеялись получить ответ. Сегодня должен был быть в Кремле «собор» и патриарх перед народом хотел объяснить, какие ереси содержатся в старых книгах. Сторонники старых книг должны были защищать их.

Понятно, что народ, бросив все дела, повалил в Кремль — должно было, наконец, решиться, на чьей стороне правда.

Патриарха еще не было — он служил молебен в Успенском соборе. «Отцы» — защитники «старой веры» — уже стояли перед Архангельским собором с зажженными свечами, за аналоями, на которых были разложены книги; на одном лежали

крест и Евангелие, на другом — икона Страшного суда. Это были Никита, бывший суздальский поп, известный своей чело- ботной Сергий- «адамант крепкий», инок Савватий.

В стороне с кем-то беседовал Павел Даниловец.

Народ теснился вокруг, с почтением смотря на них. Слы- шались одобрителны перешептывания.

— Вот это истинные служители Христовы.

— Не краснорожи, как никонианские попы. Видать, что не чревоугодники.

— Да, не толсты брюха-то у них, не как у архангельского владыки.

— Верите ли, братцы, на старый клубук поглядеть — и то сладостно. Видишь, что свои люди, не чужеземские выдум- щики.

— А ведаешь ли ты, отколь рогатые клубуки пошли? — спрашивает какой-то посадский.

— Отколь?

— А в Риме папежском была на престоле в папах баба- еретица. Она и устроила себе клубук на подклейке. А один папа на флоренский собор в клубуке на подклейке пришел и греков научил.

— Ишь, выставляют рожки-то: коли не для того клубуки, чтобы лицо смиренно закрывать, иночески.

Немного подальше шел другой разговор.

— Да в правду ль будет пря¹⁹?

— Сказывали будет, стрелец знакомый сказывал.

— Чай, увильнет Аким, хитер он. Ведь знает наперед, что нечего ему с отцом Никитой преться.

— Ан нет. Хованский, слышь, припугнул его.

— Ага, давно бы надо. А жарко, братцы.

Около Иверской пожилой мужчина, из посадских, расска- зывал о беседе в Крестовой палате, вставляя и то, что, может быть, слышал где в ином месте.

— Приходят, эвто, третьево дни к патриарху, он говорит: не ваше-де дело о вере рассуждать, мы, говорит, на себе об- раз Христов носим, вы нас слушайтесь.

¹⁹ «Пря» — здесь: спор; прение.

— А чего же Павел-то?

— А он говорит: образ-то Христов в сердце кротком, Христос, мол, сказал: «Научитесь от Мене, яко кроток, и смирен сердцем», а не в срубех, да огне Спасов лик.

— А патриарх?

— Вы, говорит, невежи, за букву «аз» церковь раздираете. А ему Павел: дьяка Алмаза за букву «аз» в титуле царском били батоги нещадно, зачем-де допустили написать «обладатель», а не «облаадатель». А у нас «аз» славу Сына Божия бережет от арьевой прелести. Рожденна, **а** не сотворенна. Чего крепче!

— Умен Павел-то. В Писании, хоть молод, а силен.

— Как стали уходить, Аким-то хотел его благословить никониански, ну Павел не пошел — благослови, говорит, по-старому.

— Что же, благословил?

— Где там, они старого креста как нечистый ладана боятся. Пожалуй, царевна, милостей лишит, а царская-то милость ему дороже Бога. За власть он десять вер переменить готов.

Рядом шел спор.

— Чем он хорош, Микитка-то, — говорил солидный, толстый купец, отирая вспотевшее лицо. Кабы был тверд, а то отрекся, потом опять за старое.

— А ты бы не отрекся? Храбер! Чай, я не говорю, что он святой, а и святые отрекались, ты про Петра-апостола слышал? Конечно, он не батюшка Аввакум али Федосья Прокопьевна и не как соловецкие мученики. А все — угодный Богу человек. Вдругорядь он не отречется, понятно страховато было впервые. Вон, соловецкий Никанор, сначала ведь тоже отрекся, а потом, как всякому дай Бог, грех свой искупил. Мученической кончины удостоился. Ты бы, твое степенство, думал, что говоришь.

— Что же, — смутился купец, — я ничего.

Между тем молебен в Успенском соборе кончился, а патриарха все не было.

Прошло довольно много времени, когда, наконец, к народу вышел не патриарх, а высланный им верхоспасский протопоп Василий.

Все ждали, что протопоп объявит о выходе патриарха, о порядке спора.

Но он вместо того встал на возвышение против угла Грановитой палаты и начал читать печатное обличение.

Сначала народ молча слушал, не разобрав, что читает Василий. Но, поняв, вдруг зашумел.

— Чего там бормочешь? Слыхали вашу брехню. Лаяться вы дошли. А ты — докажи.

— Шли патриарха самого — чего он боится?

Стрельцы, не привыкшие стесняться, бросились к Василию и, вырвав у него из рук тетрадку, хотели бить и самого его. Протопопу пришлось бы плохо, если бы за него не вступился Сергей.

— Оставьте, — остановил он стрельцов, — он не сам собой пришел, его прислал патриарх. Он человек подневольный — чего с него взыскивать. Да и за что его бить, чай, вы не никониане, чтоб вместо Божия слова кулаком вразумлять.

Стрельцы оставили Василия и даже возвратили его тетрадку. И, бледный и перепуганный, протопот снова начал читать. Но кругом был такой шум, что чтения не слышать было и рядом.

— Когда же патриарх, дождемся, что ли его?

— Он, видно, хочет, чтобы народу помене осталось, прослушают, дескать, вот, протопопа, наскучит и уйдут.

— А совсем напрасно отцы связались со стрельцами, чего от них ждать доброго, чуть не по ним, они и с кулаками, а насильем разве можно Божье дело вершить.

— Они еще и продадут отцов, им дай поболее вина — и они что хошь отдадут. Говорят, их выборные-то еще третьево дни, когда ходили с отцами к патриарху, перепились, да и грозят им: «Посмотрим-де, как-то будете отвечать патриарху и властям». Зря отцы им верят.

— Пропьют...

— Как было не поверить? Ведь сами стрельцы-то послали за отцами. Писать челобитную да давать ответ. Сами они захотели добыть старую веру.

— А по мне, не надо было верить. Свертели их в эти дни попойки да всякий шум. Не до веры им. А коль есть добрые, тем пьяные нагадят.

А протопоп все читал.

Наконец, Сергей сжалился над ним.

— Всуе трудишься, человеце. Никто не хочет слушать. Иди и так скажи пославшему тебя.

Протопоп послушался и ушел.

Патриарха не было. Но народ не хотел уходить, не хотел и стоять, занимаясь празднословием. И Сергия начали просить.

— Научи нас, отче, от Божественных Писаний, как избежать прелести никонианской.

Сергей поднялся на возвышение и стал читать соловецкие тетрадки. Толпа сразу смолкла, внимательно слушая, и негромкий, чуть дребезжащий голос Сергия разносился далеко по площади.

Послышались вздохи, всхлипывания, которыми толпа сопровождала чтение.

Сергий читал долго, наконец, истощенный трехдневным постом, которым готовился к собору, он изнемог и сошел с возвышения.

Но народ снова просил.

— Отче, научи от Божественных Писаний, как, живя в миру, избежать сетей дьявольских.

Сергий, чувствуя, что у него не останется сил, попробовал было передать тетрадки Савве Романову. Но тот отказался.

— Не мое это дело, читай сам, вы за этим и званы. Сергию пришлось идти самому.

Но на этот раз он читал недолго. Скоро из дворца показался Хованский. Увидев его, Сергей прекратил чтение и сошел вниз.

Хованский попросил у отцов благословения, приложился к иконам. Потом передал вести.

— Отцы честные, государыня-царевна указала собору быть в Грановитой палате. И сама она с царицей будут там и выслушают вас.

— Помилуй, боярин, — ответил Никита, — какое место собору в палате. Здесь, перед всем народом, должны мы свидетельствовать о вере. Нам прятаться в палатах не к чему, — худые дела под кровом прятать нужно, а Божье дело нужно делать всенародно. Пускай здесь патриарх покажет от Боже-

ственных Писаний: в чем ересь в старых книгах, а мы от Писания же покажем, что их вера, никонианская, — латино-римская ересь. А народ пускай сам судит, где правда, у нас или у никониан, и за правым пойдет.

— Но здесь не место царевнам и царице, а они хотят быть на соборе.

— А я скажу, что на соборе им нигде не место, не бабье это дело, государям след на соборе быть, а им сидеть бы в терему.

— Я пробовал, отцы, да не собьешь ее. И я, и все бояре просили остаться в своих покоях. Нет — на своем стоит. Уж вы, отцы, идите в палату.

В это время на Красное поднялось человек десять подъячих и холопов с огромными кипами старых книг.

Патриарх, боявшийся идти перед народом, нарочно собрал все книги, какие только можно было, и послал нести их через Красное крыльцо, чтобы показать народу, как он силен, и запугать самих защитников старых книг.

Хованский показал отцам:

— Вон, видите, в палате уж все готово, и книги принесли.

— Нет, боярин, — угрюмо покачал головой Сергей, — в палату мы не пойдем, мы знаем: оттуда нам одна дорога — в застенки или в сруб.

Народ, слушавший беседу отцов с Хованским, вмешался.

— Не ходите, отцы, к ним в палату, — слышались голоса. — Патриарху нужно говорить о Божественных Писаниях перед народом. А царевне здесь не место — царям-государям нужно тут быть.

— Собору и свидетельству Божественных Писаний нынче быть не время — уже поздно. А государыня-царевна выслушает от вас челобитную, а там и отпуск будет вам, — говорил Хованский.

— Не пойдем, мы для чего пришли? Чтобы перед народом показать Никонову неправду. Чтобы спасти его от соблазна латино-римской веры. В палату народ, чай, ты непустишь. Да и негде там будет народу, а без народу нам и делать нечего, — ответил Сергей. — Да и боимся мы — отвыкли уж мы верить патриарху.

— Не бойтесь, отцы, зла вам не будет, верьте мне, не патриарху: я вам говорю. И народ пускай идет. Пускай идет с вами, кто хочет.

Отцы колебались.

Тогда Хованский, который боялся упустить случай устроить хотя бы небольшое прение, хотя чуть открыть глаза народу, решительно сказал:

— Целую крест, клянусь кровию Христовой: никто вам никакого зла не сделает, а коли будет что, — то что вам, то и мне.

Отцы все молчали. Наконец, Никита решился.

— Отец Сергей, я ему верю, — сказал он.

— Ну, хорошо, — согласился со вздохом Сергей.

Отцы помолились, потом Никита взял крест, Сергей — Евангелие, Савва — икону Страшного суда и пошли. За отцами понесли аналои и книги.

Когда отцы, с Никитой во главе, вошли уже в сени Грановитой палаты, им встретилась целая толпа попов, шедших сверху. Увидев Никиту, попы заволновались.

— А, вот он, отступник, соблазнитель. Бить его! — Один подскочил к Никите и схватил его за волосы.

Другие хотели бить, но шедшие сзади стрельцы с бранью оттащили их.

На шум пришел Хованский.

— Что случилось?

— Заступись, боярин, вон поп меня сейчас бил, — бросился к Хованскому Никита.

Хованский негодовал.

— Я ничего не знаю, а их набралось, как ярыжек кабацких. Заковать этого в цепи, — скомандовал он стрельцам, — и держать в Стрелецком приказе до моего указа. У меня будут буяннить. А вы все пошли вон, — крикнул он на попов.

— Идемте, отцы, — продолжал Хованский, — теперь со мной вам худа не будет никакого.

— Не пойдем, боярин, — отвечал Никита, — в западню ты нас ведешь, и не дошли еще, а чуть не избили меня.

— Что же будет там, как попадем в палату, — сказал и Сергей. — Лучше нам дожидаться, когда патриарх собор назначит при всем народе. А то неправды стало много — боюсь я.

— Я клялся вам, отцы, вы мне не верите. Неужели я клят-
вопреступник, чай, я не никонианин. Видали, как с обидчи-
ком я расправился. Чего же больше? Нет, отцы, вы обещали
мне верить, — снова начал уговаривать Хованский.

— Коль обещали, пойдем, отец Сергий. Что будет, — ска-
зал Никита.

Наконец добрались до палаты.

Низенькая, тесная палата была уже почти полна. На царском
троне сидели две царевны — Софья и ее тетка Татьяна Михай-
ловна. Пониже были: царица Наталия Кирилловна, царевна Ма-
рия Алексеевна и патриарх. Направо от трона расположились
архиереи, а налево — бояре и выборные стрельцы. Отцы, рас-
ставив аналои, разложили на них книги и приготовились к спору.

— Зачем пришли вы в царские палаты и чего требуете от
нас? — начал спор Иоаким.

— Мы пришли, — отвечал Никита, — к государям нашим
побить челом о исправлении православной веры, чтобы дали
нам по отеческому преданию молиться.

— Не вам подобает, — злобно смотря на Никиту, сказал
Иоаким, — поправлять церковные дела. Вы должны повино-
ваться матери святой церкви, пекущейся о вашем спасении.
Книги исправлены с греческих и наших харатейных книг по
грамматике, а вы грамматического разума не коснулись и не
знаете, какую [она] содержит в себе силу.

— Мы пришли не о грамматике с тобою говорить, а о цер-
ковных догматах, — резко оборвал патриарха Никита, заме-
тив в его речи намерение просто протянуть время и кончить
спор ничем. — Зачем архиереи при осенении берут крест в
левую, а свечу в правую руку? Почему свеча и огонь честен
боле Креста Господня?

Отвечать Никите вызвался было епископ Афанасий.

— Вот и видать, что ты не разумеешь...

— Что ты — нога — выше головы лезешь? — отстранив
рукой Афанасия, закричал на него Никита, рассерженный
слишком явным намерением патриарха и архиереев «со-
рвать» прение. — Не с тобой говорю, а с патриархом.

— Видали, что Никита делает, — вмешалась в спор Со-
фья, только и ждавшая какого-нибудь повода сорвать беседу.

— При нас архиереев бьет, а что бы было, кабы мы патриарха одного на площадь к нему пустили.

— Не бил он, а только отстранил, — раздался из толпы чей-то возмущенный голос.

Но Софья пропустила ответ мимо ушей и продолжала к Никите.

— Тебе ли со святейшим патриархом говорить. Помнишь, сам в своем непокорстве и расколе каялся.

— Не запираюсь, — ответил Никита, — Понес я покаяние за мечом да за срубом. А на челобитную, которую я подал на соборе, никто мне ответа не дал из архиереев. Сложил на меня Семен Полоцкий книгу «Жезл», но в ней и пятой части против того, что в челобитной, нет. Изволишь — и теперь готов отвечать против «Жезла», и если буду виноват, делай со мной, что хочешь.

— Да вот смотри, царица. Вот Господь Саваоф зрит на нас сверху. Видишь ли, как Он благословляет? — Никита указал на Саваофа, написанного на потолке палаты и благословляющего двуперстно.

— Не стать тебе с нами говорить и на глазах наших быть. Вели читать челобитную, — нашлась ответить Софья.

— Замазать надо... — не удержался вслух выразить свой основной миссионерский принцип менее умный первосвященитель.

Начали читать челобитную.

Софья внимательно вслушивалась, думая найти и тут что-нибудь, чтобы помешать и чтению челобитной. Наконец, она услышала, как Арсений и Никон назывались «еретиками».

— Если Арсений и Никон еретики, — искусственно негодующим голосом говорит она, — то и отец наш, и брат еретиками стали. Выходит, что и нынешние цари — не цари и патриархи — не патриархи, архиереи — не архиереи. Мы такой хулы слышать не хотим, что отец наш и братья — еретики. Мы пойдем все из царства вон.

— «И сказал Каиафа, что нам еще свидетельства, слышали хулу Его: повинен смерти», — грустно проговорил несдержанный Павел Даниловец. — И еще писано: «Сказали фарисеи: аще отпустишь Его — не друг кесарю».

В самом деле, приемы Софьи — прекратить прения и запугать бояр и стрельцов — очень напоминали суд над Господом.

И ветхие способы убить истину не остались совсем без успеха. Нелепая с начала до конца, речь Софьи сделала свое дело — произошло временное смятение.

— Зачем царевне и государям из царства вон уходить, мы рады за них головы сложить, — бросились утешать ее бояре.

Смутили они и кое-кого из стрельцов. Правда, из толпы стрельцов послышались возгласы другого характера.

— Пора, государыня-царевна, давно вам в монастырь. Полно царством-то мутить.

— Нам бы здоровы были цари-государи, а без вас пусто не будет. Но Софья рассчитала верно: стрельцы боялись новой смуты. Они устали.

Когда, наконец, кутерьма, поднятая Софьей, успокоилась, началось снова чтение челобитной, прерываемое странными замечаниями Софьи, на которые даже бояре, «друг на друга взглядываясь, улыбались».

Увидев неудачу своего миссионерства, Софья перешла к более подходящему для нее делу.

Она занялась выборными.

— Вам бы, светы, надо за нас постоять. Да и вы в том крест целовали, что за наш царский дом стояти. Смотрите, как отца моего хулят...

Убеждения сопровождалась обещаниями милости за помощь.

Выборные поддавались, иногда только кидали мельком:

— Так-то так, но камением нас рядовые закидают.

Архиереи, не умея отвечать на напор Никиты, «уповательно» глядели на Софью. Они засыпали стоятелей древней веры ссылками на книги, но самих книг не открывали. Со-слались на патриарший свиток царю Федору, но и его «на свидетельство не дали». И тоскливо ждали приказа Софьи: кончить. И она спасла их.

— Ну, будет. Наслушались хулы. Быть собору в пятницу... — резко произнесла она и пошла из палаты.

В то время, как в палате шло прение, народ стоял на площади, ничего не слыша, не зная, что делается в палате, и на-

чинал уже волноваться. Беспокоились за участь своих, так как знали, чего можно ждать от патриарха и Софьи.

Раздавались уже голоса,

— Что же, долго ли мы будем стоять сложа руки? Там, может, отцов давно прикончили.

— Айда все в палату — выручай.

— Чего еще ждать. Там, по-крайности, узнаем, как, что.

— Понадеялись на стрелецких голов — продадут они отцов за чару вина.

— Для них вера — что, они хоть в турецкую пойдут.

— Идем, чего тут.

Еще немного — и народ хлынул бы в палату.

Вдруг толпа затихла — на Красном крыльце произошло какое-то движение.

Все глаза устремились туда.

Дверь из сеней отворилась и на пороге показался Никита: бледный, взволнованный, он не мог говорить и только высоко поднимал над толпой руку с «крестом».

Над толпой раздался его слабый от волнения голос.

— Тако креститесь.

В его голосе не было ликования... И он, и Сергей, и Савватий, и даже неумный Хованский, понимали смысл прения в палате: понимали, что прение только «царевнино комедийство», что самая беспомощность владык должна была только острее поставить вопрос о других способах доказывать истину, т.е. их «головах».

Недаром Хованский тотчас приставил к отцам «сто человек для обережения».

Но толпа не понимала этого, обрадованная уже тем, что отцы целы, она ликовала беспредельно и решила, что правое дело выиграно окончательно, восторжествовала святая вера. Не попустил поругания Господь. Верили, что теперь можно опять молиться по старым дедовским обычаям, читать и петь по старым книгам без сомнения, без боязни. Верили, что если истина доказана, — она будет признана всеми.

И умный Сергей счел за лучшее оставить толпу в неведении уже ясных для него намерений Софьи и патриарха.

— Братие, — раздался с крыльца голос Сергия, — поблагодарим Господа за то, что дал победу правому делу. Кто хочет, идите с нами к Спасу — помолиться.

— Мы все за вами, отцы святые.

Вся многотысячная толпа, с утра стоявшая на площади, целиком двинулась с отцами за Язу, в церковь Спаса в Чигасах.

Там отцы соборне отслужили торжественное молебствие с водосвятием с колокольным звоном. Народ, не вмещавшийся в маленькой церкви, заполнял не только церковный двор, но и улицу.

После молебна народ с ликованием расходился под торжественный пасхальный звон, разнося по всей Москве весть о победе правой веры и конце испытания для верующих.

А в Кремле в это время пьяные выборные уже торговались с Софьей о головах Никиты и других защитников старой веры.

Наивно и ярко рисует разложение «надворной пехоты, пропившей веру», Савва Романов.

«И обеща им царевна, — рассказывает он, — чести и дары великия дати: первого выборнаго Стремяннаго полка, пятисотеннаго Никифора Силина, велела написати в думные дьяки; другаго пятисотенного, прозванием Барана, пожаловала в дьяки же, а сына его в верха велела взять; а иным дала по сту и по пятидесяти рублей и приказала *на погребях поити их, чего похотят*. Они же паче отрекошася, глаголяще: нам до сего дела отнюдь нет».

В Титовом полку ее встретило сопротивление. Пятидесятник Авдий Артемов отвеща: «Мы, государыня, без братскаго совета повинныя дати не смеем, прибудут нас камнем стрельцы рядовые, егда приидем в полк».

«Царевна же повеле у них все оружие отобрати и грамоты жалованныя взяти и отказати им всем от царскаго двора, чтобы и на караул не ходили, како хотят, тако и жити». Но, одумавшись, и на них решила действовать аргументами «царевых кабаков».

Рядовые стрельцы действительно сначала были очень недовольны затеями своих выборных и некоторых посажали в тюрьмы, а остальных решили перебить и по-прежнему идти с

барабанным боем к патриарху. Но средства Софьи оказались сильнее их воли.

«В то время присла царевна некоего человека к ним с жалованьем, иже пришед, глагола им: Великих государей дворяне и вся надворная пехота, цари государи жалуют вас погребом по ушату пива простого на десять человек и подельного также и мера вина и мера меду. Они же, егда услышаша все, всю ревность о старой вере повертоша и, всяк десяток свой ушат подхватяше побегоша на погребы и все быша пьяны зело».

И при этом мужественные защитники старой веры, которыми отцы вверили свою жизнь и судьбу православной веры, восклицали: «Что нам больше того жалованья и чем нас великие государи не жаловали».

Результаты мудрой политики Софьи были блестящи.

В пятницу, вместо собора, был схвачен стрельцами Никита. А во вторник, 21-го, когда настроение совсем выяснилось, скатилась на плахе его голова.

Новолетие 1682 года

День 1 сентября — новолетие — один из самых торжественных праздников в старой Москве.

К «действию Нового лета» съезжались в Москву служилые люди, старые заслуженные бояре вылезали из своих вотчин, чтобы присутствовать при торжественном «чине летоководства», наезжали и специальные посланцы от отдаленных русских областей.

Праздновалось новолетие торжественно и пышно. «Действо» обыкновенно совершалось в присутствии царя, всех бояр, служилых людей и всех стрелецких полков: все собирались в парадных кафтанах, стрельцы со знаменами и оружием. Толпы народа собирались со всей Москвы поглазеть на «действие» и побить челом государю, заполняли обыкновенно не только площадь, а и все крыши. Иностранные послы нарочно приезжали в Кремль.

За целую неделю до 1-го сентября плотники начинали уст-
раивать перед Красным крыльцом помост для действия. Царс-
кое место было особенно великолепно. Оно представляло
точёный деревянный павильон в виде часовенки с пятью про-
зрачными слюдяными куполами тонкой немецкой работы,
поверх куполов вместо крестов были поставлены золочёные
чеканной работы орлы, внизу павильон был закрыт слюдя-
ными окнами. На другой стороне помоста было устроено ме-
сто для патриарха. Оно было проще — обыкновенное вызо-
лочённое кресло, покрытое персидским ковром, под резным
балдахинном.

Всю неделю толпились на площади зеваки, возле плотни-
ков, дивясь на искусно сделанные слюдяные рамы, ажурные,
словно кружевные купола.

В этом году царское место устраивалось больше, так как в
павильоне должны были поместиться целых три трона — для
двух царей и Софьи.

Ждали, что в этом году действие, благодаря участию двух
царей и правительницы, будет торжественнее, чем обык-
новенно.

Но ожидания оказались напрасными. 31 августа, накануне
новолетия, Софья прислала к патриарху гонца с извещением,
что по нездоровью ни она, ни цари у действия не будут, вместо
них указала она быть у действия начальнику стрелецкого при-
каза Ивану Андреевичу Хованскому.

Софья боялась показываться в Москве. Боязнь нового
стрелецкого бунта, которая заставила ее уехать из Москвы
в Коломенское, теперь еще больше усилилась под влиянием
нашептываний Шакловитого, который, пользуясь своей
случайной близостью к правительнице, изо всех сил старал-
ся запугать ее стрельцами и Хованским. Хитрый дьяк сумел
оценить значение стрельцов и добивался свержения Хован-
ского, чтоб самому занять его место. Он понимал, что на-
чальник стрелецкого приказа, если он будет умело пользо-
ваться своей силой, может стать первым лицом во дворце,
настоящим царем. Только нужно было умно пользоваться
стрельцами, что было не по силам недалекому Тарару и
как раз по плечу ловкому, пронырливому дьяку. И Шакло-
102

витуму удалось раздуть недоверие Софьи к Хованскому до того, что она не только отказалась ехать в Москву, но решила убраться и из Коломенского, подальше от Москвы и Хованского.

Известие это обидело Иоакима: без царей и, стало быть, без ближних бояр действие должно было выйти бледным, утратить всю торжественность. Не нравилось ему и назначение Хованского, известного своей приверженностью к «старой» вере.

— Скажи царевне, — не сдержав недовольствия, сказал патриарх, — напрасно обиды чинит народу и мне. Без царей действия — как нет. А коли вместо себя она церковного раскольника, смутьяна поставит, будет одно поругание вере. Государям-царям я верный слуга и обиды принимаю зря.

Несмотря на то что гонец приехал вечером, весть о том, что цари не будут к действию, сейчас же вышла на улицу и быстро распространилась по всей Москве.

Город переполошился. Это был еще первый случай, когда цари отсутствовали на действе. Конечно, для такого необыкновенного происшествия стали искать и причин необыкновенных. Причин искать долго не пришлось: она была у всех на уме — стрелецкий бунт. Слухи о готовящемся бунте уже давно ходили по Москве, и все остановилось на этом объяснении.

К утру весь город знал, что во время действия начнется новая смута, пуще прежней.

Понятно, что охотников смотреть на действие нашлось немало. И утром 1-го сентября 1682 года Красная площадь имела необычный для этого дня вид.

Площадь была почти пуста, только кое-где виднелись небольшие робко жавшиеся кучки зрителей.

Не было ни стрельцов, ни служилых людей, обыкновенно окружавших помост плотной стеной и придававших действию особенно торжественный вид. Не было и бояр, и Хованского, заменявшего царей, но они по чину действия должны были выйти только к концу его самой торжественной части.

Но вот патриарх уже окончил литию, которая совершалась перед дверями Успенского собора.

И под торжественный звон во все колокола с паперти собора к патриаршему месту двинулся крестный ход — с хоругвя-

ми, с крестами с иконами. За иконами шли попы, архиереи и патриарх, хмурый и недовольный.

С паперти Благовещенского собора, напротив, в это время должны были идти к помосту цари, теперь — их заместитель Хованский и бояре.

Иоаким шел, не глядя вперед и опустив голову: ему неприятно было увидеть во главе торжественного шествия Хованского, своего недруга. Его внимание вдруг привлекли перешептывания шедших перед ним попов и архиереев. Недовольно поднял глаза Иоаким взглянуть, что за причина. Взглянул и, не веря себе, даже рукой провел перед глазами, чтобы стряхнуть наваждение.

Вместо торжественной процессии от Архангельского собора шел один окольниковый; ни Хованского, ни других бояр не было видно.

— Что это? — думал патриарх, — неужели решится пойти супротив царской воли? Неужели не придет?

— А може, задержался? Чай, придет, посовестится, — волновался он и, чтобы дать время Хованскому прийти, нарочно замедлял шаг.

Однако крестный ход уже вошел на помост, а окольниковый все был один.

— Что ж это он, на смех что ль одного послал. Пущай бы никого. А то... на издевку... Да и как смел этот прийти! Не знает, с кем шутить, я покажу им, какие со мной шутки.

Действо было совсем погублено, и патриарх был прав: появление окольного только еще более подчеркивало это.

Вот и кончился ход. Патриарх остановился, ожидая, но к благословению подошел все тот же окольниковый. Не глядя, Иоаким благословил его и повернулся к народу.

Но и там было не то, что всегда. И те небольшие кучки, что, не побоявшись слухов, пришли посмотреть действо, теперь не обращали внимания на то, что происходило на помосте.

Все оживленно толковали о чем-то постороннем. Многие после разговоров уходили, некоторые почти бежали. Возле помоста оставалась уже совсем незначительная кучка.

Иоаким прислушался к тому, что говорили.

— Сам слышал, чай, вчера, что говорили, — не стеснясь, во весь голос говорил высокий пожилой мужчина своему соседу. — Бунтом опять поедут стрельцы. Вон, вишь, их тута нет. Выходит, болтали правду. Ни самого, ни рядовых нет. Говорю, идем до греха.

С другой стороны старик тянул за рукав молодого парня, очевидно, сына.

— Айда, смотри, придут стрельцы, так поздно будет.

— Постой, тятя, — говорил тот. — Дай поглазеть, занятно больно.

— Айда, говорю, проглазеешь тут голову.

И без того маленькая кучка зрителей таяла на глазах патриарха.

Иоаким пошел к своему месту.

— Ну погоди, Иван Андреич, — прошептал он, сжав зубы. — Попомнишь ты нонешний денек.

В тот же день вечером в патриарших покоях сидели сам Иоаким и Шакловитый, только что приехавший из Коломенского.

Они сидели в маленькой тесной комнате, удаленной от парадных горниц. Все убранство комнаты состояло из небольшой божницы, стола и двух стульев, на которых сидели патриарх и его гость. Единственное окно комнаты было плотно закрыто ставнем снаружи и, кроме того, завешено и изнутри. Комната освещалась только бледным светом восковой свечи, стоявшей на столе. Двери тоже были плотно затворены. Очевидно, собеседники находили нужным прятаться.

— Прослышал я, святой владыка, об обиде, какую учинил тебе Ивашка Хованский, — говорил Шакловитый, — большая обида, такой и снести, по-моему, при чине святительском не можно. Непокорство такое и непочтение татарин только, а не христианин православный, может сделать.

— Я своей обиды не помню, я — чернец смиренный, гордостью не возношусь, — «смирненно» отвечал патриарх. — Обида Церкви, не мне, рабу худому; такой обиды я не могу

забыть. Поруганья веры я не прощу. А мне обиды что, я к ним привык. И обо мне напрасно говоришь, я не обижен...

Но голос и лицо Иоакима говорили совсем не то, что язык.

— Помилуй, владыка, так забывать себя грешно, — разжигал еще более Шакловитый. — Обида тут прямая, ради священного сана ты не должен прощать.

— Христос нам — наученье и пример. Он заповедал прощать обиды, — все еще сдерживаясь, отвечал Иоаким.

— Припомни, сколько раз уж ты прощал ему. Кто устроил беседу в Крестовой палате, кто устроил позорище в Грановитой, на посмеяние церковным раскольникам выставил тебя и всех архиереев. Все он, Ивашка, — искусно напоминал Шакловитый.

Иоаким не выдержал.

— Небось, свое я отплачу, — вскочил он со своего стула. — Я... дай срок, я покажу...

— И нужно; ты, владыка, не в меру мягок. Ты с явным раскольником, своим обидчиком, — и чуть не друг.

— Тс-с, погодь..., — испуганно зашептал патриарх.

— Он на тебя зло мыслит. Ведь и Никиту он чуть не отстоял, опомнясь. Когда бы не мудрость царевны, он бы и теперь тебя срамил. Ну, теперь поговорим о деле.

Шакловитый заговорил тише.

— Я, чаю, ты, владыка, ищешь, чтоб от своего лиходея избавиться. Дай-ка поразмыслим, как нам его избыть.

— Тс-с, погодь..., — испуганно зашептал патриарх. Он вскочил, приотворив дверь, выглянул за нее, потом снова плотно притворил.

— Про этого пса и говорить с опаской надо, — неровно, услышит кто, да донесут ему. Забыл ты, про кого мы говорим.

— Так ты, владыка, ради смиренья Тарарую меня не выдешь? За обиду, может, добром ему заплатишь?

— Я уже сказал, обиды я не помню. А церковным раскольникам и бунтовщикам я не потатчик. Он ныне супротив прямого царского указа пошел. Уж не впервой он, не повинуюсь царской воле, по-своему дела вершит. Он государям — ворог. И за него я не заступник.

— Вот, правильно ты молвил, владыка, — враг он госу-

дарям. Самовластен он и горд, и непокорен. Все царство мутит Ивашка. Уж говорят в народе, де, сыну Хованский царство готовит. Царевну, слышь, и государей по монастырям, а своего сына на царство.

— Неужто вправду?

— Говорят, я слышал, а проверять не нам. Коли и ложь, так нам она во спасение. Нам разбирать теперь не время, только б ворога избыть.

— Для святого дела — все свято. Для блага земли и для спасения веры от поруганья.

— Смутьян он, бунтовщик, я говорил давно царевне — убирать бы надо его, так нет, она, вишь, боится стрельцов, да и на бояр не надеется, приятели де Тараруя все. И, дескать, зазорно от людей: он посадил меня на трон, а я его, взамен благодарности, да на плаху. Тогда, говорят, мне нигде заступы не жди, все от меня уйдут.

— Что ж, разве не слыхала она про похвальбу-то, коли мыслит он против царского здравья, так всякая заслуга не в заслугу и супротив расправы никто не скажет.

— А что ж толку от слухов? Казни она по слухам, без суда — все то же скажут. А суд боярский боярина по слухам не осудит. Им надо улики. А где они? Хоть бы какой донос, тогда бы другое.

— А если настрочить бы, Федор Леонтьич, тебе, — робко бросил патриарх.

По губам Шакловитого пробежала еле заметная усмешка, он добился своего: Иоаким, всегда осторожный, трусливый, боявшийся сказать лишнее слово, говорил такие опасные речи.

— Настрочить — легкое слово, — сказал дьяк и, прищурившись, глянул на патриарха.

— А знаешь ты, что будет за такое дело, коли Тараруй проведает, кто настрочил.

— Ты поопасней говори, — боязливо оглядываясь, проговорил Иоаким, что ты: Тараруй, да Тараруй, — не к месту поминать зачем. Про пса и без клички, я чаю, можно говорить.

— Добро. А как же про донос, как напишу я: Федор Шакловитый доносит-де, а на другой день на дыбе буду.

— Чай, ты не младенец, не от своего имени, а от посадских якобы и от стрельцов, повинную-де мы несем, он подбивал-де на бунт да на разбой.

Иоаким уже забыл, что «ему пример — Христос», забыл, что «он обиды не помнит». Он «учил» Шакловитого, дрожа от злобного волнения.

— Так разве... и подлинно. Умнее не придумаешь, — одобрительно говорил дьяк.

— Да ты пиши побольше, чтобы всех задело. Царевен-де по монастырям, царей губить хотел, а сам на царство сесть, похвалялся, мол, что родом он получше Романовых — из Гедиминовичей. Не воровского, казацкого ставленника внук, как нынешние цари.

— Так, так, владыка, — удивлялся Шакловитый. Положительно, под влиянием обиды у патриарха явилась не только решительность, но и ум.

— Не забудь и про бояр. Напиши-де похвалялся бояр всех перебить. Да поименно тех, кто познатнее — Милославских, Одоевских, Черкасских, Шереметьевых, чтоб те, что за приятеля его считают, не вздумали вступиться. Так вернее: бояре коль увидят, что он супротив них шел, царевне прекословить не будут.

— Верно рассчитано, владыка! — восхищенно воскликнул дьяк. — Так хорошо придумал, что подумаешь, что ты весь век дьяком при разбойном приказе высидел...

Патриарха чуть покорило от такой похвалы.

— Нужно идти, владыка, — встал дьяк. — Дело не ждет. Прости.

— Как же донос? Сперва ты напиши, я очиню сейчас перо, — услужливо бросился в другую комнату Иоаким.

— Нет, — улыбнулся Шакловитый, — своей рукой писать доносы, пожалуй, долго головы не сносишь. Отдам какому-нибудь приказному иль есть у меня холоп грамотный, ему отдам. Благослови, владыка.

— Дай Бог тебе успеха, — сказал Иоаким и *благословил дьяка*.

На другой день утром на воротах дворца в Коломенском был уже прибит донос.

Именины царевны

Семнадцатое сентября — день святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Именины царевны-правительницы.

Кажется, первый раз именной день праздновался так необычно, как 17 сентября 1682 года в с. Воздвиженском, где в этом году жил двор.

День, который всегда, как светлый праздник, праздновался милостыней нищим и тюремным сидельницам, тотчас после обедни и государевой водки — боярам, окольничьим и думным людям, начался *судом* над князьями Иваном и Андреем Хованскими.

Страшным судом без подсудимых и обвинителей, без опросов и ставок.

— Ишь, нашли день сиденье учинить, — ворчал князь Иван Андревич, «Большой» Голицын, которому очень хотелось спать после государевой водки. — Да и видано ли дело: хотят судить, а за ответчиком только что послали. Хоть бы отдохнуть часок дали...

— Ничего, недолго протянут, — успокаивал его Троекуров, — слышь, и смертная сказка готова. Только прочитают: царевна с Иоакимом ноне перед обедней порешили.

— Перед обедней? — опешил Голицын. — Как перед обедней? — Его тугой ум плохо связал «смертную сказку» с именной обедней.

И еще более недовольный, он, пошатываясь, двинулся в палату, где начиналось «сиденье».

Оно в самом деле было очень коротко.

Через час бояре уже сидели у передних ворот государева двора, ожидая осужденных.

Князь Голицын Старшой даже успел вздремнуть на лавке. Остальные нетерпеливо взглядывали вдаль.

— Кажись, везут.

В самом деле: на московской дороге закружилось облако пыли, а немного погодя на синеве хмурого сентябрьского дня, на сером пыльном фоне выяснилось несколько всадников, мчавшихся во весь дух.

Передний всадник, одетый, как и все остальные, в кафтан стрелецкого стремянного полка, держал в поводу лошадь, на спине которой лежал связанный начальник стрелецкого приказа князь Иван Хованский.

Он был плотно прикручен за руки к седлу, не связанные ноги болтались по крупу, подпрыгивая при резких скачках лошади. Нарядный праздничный кафтан был захватан и в нескольких местах изодран. Голова была тоже не привязана и тряслась и подпрыгивала на ходу, обметая сивой бородой пыль с груди. Глаза на красном от прилива крови лице были закрыты. Он был почти без сознания.

За передовой кучкой ехало целое войско из боярских детей и служилых людей. Здесь тоже были связанные пленники, уже простые стрелецкие выборные, сопровождавшие Хованского.

В конце отряда везли Андрея Хованского, так же, как и отец, туго прикрученного к лошади.

Оба отряда остановились перед сидевшими возле дворцовых ворот боярами. Из середины большого отряда выехал на огромном вороном коне начальник отряда князь Лыков.

Толстый Лыков, задыхаясь, слез при помощи стрельца с коня и подошел к скамьям.

— Вот, бояре, по царскому указу захватил я государских изменников, князя Ивана Хованского с сыном Андреем. Куда укажете их?

— Государыня-царевна указала суду быть здесь, в великий день ей не докучать. Веди сюда, — ответил Лыкову Шакловитый.

— Эй, снимите, — скомандовал боярин.

Хованских отвязали и спустили на землю, не развязывая рук.

В первый момент оба пленника не могли стоять без посторонней помощи. Дав им немного поразмяться и укрепиться на ногах, провожатые толкнули их к боярам.

Тараруй, чуть опомнившись и разглядев, где он, заговорил, волнуясь и задыхаясь.

— Бью вам челом, бояре, на Лыкова Михайлу. Заступитесь. Разбоем он с товарищами из стольников и стряпчих и из городских дворян напал на меня, когда я, едучи поздрав-

лять царевну-государыню, пристал в своей палатке передохнуть. Побил он моих людей и меня связал. И меня облыжно лалял изменником и лиходеем, ворогом царским. И ввез сюда, как своего холопа... Заступитесь, бояре.

— Никто тебя не обидел. Боярин Лыков князь Михайло по царскому приказу ездил за тобой, — отвечал опять Шакловитый. — Изменником тебя он назвал не облыжно, да тебе на этакое словно обижаться не пристало.

— Что же, бояре, неужели правда, что государи за верную службу такое жалованье нам указали дать? Что же вы молчите? Скажи хоть ты, Михайло Алегукович, — кивнул Хованский старику Черкасскому и, забыл, что он связан, потянул правое плечо вперед, показать на него рукой.

— Чего тебе еще — объявлено тебе ведь дьяком, — не глядя на него отвечал Черкасский. — Государи не за службу тебя хотят казнить, а за измену, за умысел на их царское здоровье, на патриарха и на всех на нас, бояр, и многие другие вины. Да прочитай им сказку, — махнул он Шакловитому.

Дьяк встал и, достав из кармана лист, начал медленным ровным голосом:

«Лета 7191 сентября в 17 день слушали великие государи и сестра их...»

— Брось это! — нетерпеливо, гневно дернул плечом Хованский. — Слыхали мы, как пишутся указы. Ты дело читай — какие за нами против государей вины...

Дьяк, не обращая внимания, медленно вычитал начало указа.

«Великим государям ведомо учинилось, что боярин князь Иван Хованский, будучи в приказе надворной пехоты, а сын его боярин князь Андрей в судном приказе, всякие дела делали без великих государей указа. По розыску и свидетельствам оказалось, что оный князь Иван Хованский роздал многую государеву денежную казну без указа, всяких чинов людям позволял ходить в государевы палаты без всякого страха с наглостью и невежеством...»

«Сказке» не было конца.

«Вместе с раскольниками ратовал на святую церковь; оберегал церковных мятежников от казни...»

Читал дьяк обвинения одно за другим, как из неиссякаемого источника сыпались они из уст дьяка.

Хованские молча стояли и слушали. Но не одинаково слушали отец и сын.

Тараруй насмешливо, гневно улыбался, он думал, что ему ничего не будет стоить оправдаться от этих обвинений и его только сердило то, что приходится терпеть эту унижительную процедуру суда ему, знатному боярину, князю Гедиминовичу.

Андрей, который был умнее отца, понял, что их песенка спета. Что если их решились тронуть, то живыми отпускать было слишком опасно и Софья и патриарх на это не рискнут. И он не улыбался. Андрей закусил губы и носком сапога рыл землю, следя глазами за разлетающимися крупинками песка, и запоздалые ненужные думы бродили у него в голове.

«Опасней надо было жить. Ведь, почитай, без стражи везде бывали. И отец с полсотней стрельцов в такое разбойничье гнездо, к изменникам из стремянного поехал. А я уж думал: у себя в своей деревне не достанут... Сами виноваты»...

Он посмотрел на сидевших перед ним бояр. Внимательным, пытливым взглядом прошел он по смущенным лицам большинства. И надежда, все еще державшая, окончательно исчезла у него.

«Да, видно нам конец, — вздохнул Андрей. — А надо было беречь себя для веры. Что будет теперь без нас, кто, оборонит ее от поругания. У нас была сила. А кроме силы, они ничего не боятся. И при нас не постыдились расправиться с Никитой. А после нас им бояться нечего — греха для них ведь нет. Что будет?.. Что будет? Мы виноваты. Погубили и веру, и себя... Да что себя...»

И вдруг резкой болью застонало сердце.

В первый раз с ареста вспомнил он о себе, о своей семье. Сразу заполонили и ум, и сердце молодая любимая жена и пятилетний сынишка.

Вытянувшись всем телом, напрягая связанные руки, поднял он смятый, ищущий помощи взор к небу.

— Господи, защити... Тебе служил... Тебе... Без лжи... Как умел... Спаси...

Но прошла минута, и Андрей снова сумел овладеть собой, снова забыть о себе, о своих личных печалях.

А дьяк кончал уже свою бесконечную «сказку»:

«Да сентября во второе число объявилось на них, князя Ивана и князя Андрея, подметное письмо: извещают московский стрелец, да двое посадских...

Призывали они их к себе в дом и говорили, чтобы помогли им достигать царства московского...

Убить обоих государей, да бояр побить...»

Дьяк повысил голос и медленно, отчеканивая каждое слово, начал перечислять имена бояр.

«Одоевских троих, Черкасских двоих... Голицыных... Шереметьевых...»

И уже быстро зачитал он, заканчивая «сказку»:

«Послал смущать по городам и селам... Подучал, чтобы побии воевод и приказных... бояр и боярских людей... Чтоб выбрали царем его — князя Ивана...»

И ровный, спокойный голос дьяка убивал надежду и у Тараруя, и тугой на соображение князь Иван понял, что, если сплели такую «сказку», значит крепко решили покончить с ними.

Вот дьяк снова повысил голос:

«Великие государи и сестра их указали и бояре приговорили: по подлинному розыску и явным свидетельствам и делам, и тому известному письму согласно, казнить смертью».

Наступило молчание.

— Так, значит, вы, бояре, по доносу какого-нибудь выпоротого холопа, без розыска и без допроса боярина и князя с сыном на смерть осудили? — спросил, шагнув вперед, Хованский.

— Не мы, а государыня-царевна, — не глядя на Тараруя, буркнул Черкасский.

— Ой, ой, бояре, вот это так, — насмешливо улыбнулся тот. — Давно ль так повелось у вас, что можно Гедиминовича без боярского совета осудить? Ну, для чего ж тогда вы здесь? Иль палачу в подручные?

— Не зубоскаль, боярин, ты не в скоморошной палате, — прикрикнул было Шакловитый.

— Ты кто таков? — надменно взглянул на него Хованский.

— Как смеешь ты так говорить со мной? Давно ли ты из холопов в дьяки пролез? А вы, бояре, молчите? Скажите, правду ль так, или шутки вы с нами шутите? Такого не бывало. По одному доносу без суда боярского бояр допреж-то, кажись, не казнили. Что же?

— Да что ты за допросчик нам? — сердито ответил Одоевский. — Тебя судили не по доносу только. Чего ж ты слушал, коли такое несешь? За многие вины. Слышь ты? *За многие* и, промеж прочих, и по доносу.

Вперед выступил Андрей Хованский.

— Дозволь мне, батюшка, — обратился он к отцу, потом начал говорить боярам:

— Какие ж нам вины, бояре. Те — *многие*, чтобы по ним казнить немедля? Окроме той, что вот в доносе, — нет ни одной. Да и по тем винам, я чаю, не токмо что боярина — холопа без очных ставок, без явного свидетельства к пене²⁰ не присудят. Вон в «сказке» написано, что я неправедно судил. А я ни одного холопа так, как вы нас с батюшкой на смерть уж осудили, не судил. Смотрите только, не было бы худа и вам самим от этого суда. Проруха может случиться со всяким — ноне царством правит баба. Ей чуть не угодил, вот и накликал опалу, прежней службы не помнят, и с вами такая же расправа будет. Скажут, уж раз судили, так можно и друго-рядь. Помните: в ню же меру нам мерите и вам отмерят. На себя веревку вьете. Виноваты мы — судите, да не за глазами. Дайте нам ставки и доносчика приведите налицо. А покамест хоть к государыне-царевне нас допустите, спросим ее: неужто правда, что вся прежняя служба ей забыта, коли по первому подметному письму какого-то Якимова холопа нас казнят. Суда, бояре, мы просим; одного суда.

— Суд был..., — отозвался среди общего смущенного молчания Шакловитый.

— Где? Когда?

— Ноне, у государыни-царевны сиденье было!

— Ноне? — протянул князь Иван, — на именины-то... хорошее дело... Так чем же вас купила царевна?

²⁰ «Пеня» — наказание, штраф.

Князь потерял самообладание и перестал сдерживаться.

— Или бесновалась хорошо Иродиадина дочь — и выплясала у вас нашу голову? Чай, не от водки ее опьянели. От двух-то чарок разве вон Большой Голицын спьянится, а Михайле Алегуковичу и десяти мало. Совесть продали вы, бояре... Голову брата подносите на блюде Иродиаде.

Несдержанная, но соответствующая языку века речь — подействовала. Бояре начинали понимать, что и в самом деле были игрушкой в руках «прелестницы» и святителя.

Начались перешептывания. Шакловитый, зорко следивший за происходившим, сразу заметил перемену в настроении бояр и отозвал в сторону Милославского.

— Что тянуть, Иван Михайлыч. Пошли сказать царевне — пушай она их поторопит. А то на этих дурней положишься, еще раздумают, — кивнул он на бояр.

— А упустишь из рук Тараруя — вдругорядь не поймаешь.

— И вправду дело.

Милославский позвал стольника и что-то шепнул ему. Тот отправился во двор. Минуты три все молчали. Князь Иван снова было начал речь.

— За что судить, бояре? За то, что веру святую не дал на поругание. Да давно ли вам стал мил Аким? Кажись, и ты, князь, — он кивнул одному из Голицыных, — не по-новому крестишься.

— А у тебя, — князь обратился к Шереметеву, — как дочь зовут? Анной, в память Кашинской Анны. Где теперь ее святая? Ее иконами у патриарха опочивальню топят... А ты...

— Ему не удалось закончить. Стольник пришел с известием, что царевна велела дела не перевершать. Вины-де Ивана и Андрея доказаны, и слушать их басни царям не к чему.

Стали искать палача, но его не успели заготовить и на площади, у большой московской дороги, Хованских вершил стремянной стрелец.

«Так были отпразднованы именины царевны-правительницы», — заканчивает рассказ о «Иродовом пире» расположенный к Софье С.М. Соловьев.

Дня через три около «воровской», без креста, могилы князей отдыхали шестеро путников.

Один из них наскоро сбивал ивовый крестик над телом последнего «властного» стоятеля правой веры.

— Сломают, как увидят, а все-таки пусть постоит, — говорил путник

Это шли на далекий Выг наши старые знакомцы — Ивашка, Дарьюшка и еще четверо, спасающихся от Акима и его еще не утвержденных, но уже действовавших всюду «статей».



Часть третья

На Выге

У Дениса Мышецкого

Зима в 7195²¹ году выпала ранняя.

Была только половина ноября, а все уже носило настоящий зимний вид. Сильный холодный ветер, поднимая сухой рассыпчатый снег, кружил в воздухе и снова бросал, носил по земле, передувая, наметая возле всякой выбоины, кочки глубокие сугробы. Над землей носилась какая-то серая муть, густое движущееся месиво.

Большое село Вологодской губернии, Повенецкое, совсем замело. Ветер носил к нему снег со всего поля, шумел в трубах, трепал жиденькие соломенные крыши избенок. Светало, но мрачное северное небо было по-прежнему темно-мутно, только на востоке проявилась белесовато-серая полоса. В воздухе чуть прояснилось, но вдаль по-прежнему ничего не было видно, как будто быстро движущиеся полосы прозрачной кисеи закрыли деревню и она осталась вдруг одна во всем мире, с этим кусочком голого скучного поля, под этим темным угрюмым небом, на волю ветра.

Мрачно. Тоскливо.

Село уже проснулось. Из труб кое-где показывался дымок, который быстро подхватывал ветер и, разорвав на клочки, носил куда-то.

В большой просторной избе захудалого князя Дениса Мышецкого тоже встали.

Только Соломонии, дочери-невесте, позволяли спать: молодая, утренний сон сладкий.

²¹ В 1687 г.

Сам Денис, мужик лет 50-ти, давно и забывший о своем княжестве, еще крепкий, худощавый, с небольшой реденькой бородкой, с ясными, глубоко сидящими ласковыми глазами на простом и серьезном лице, сидел на лавке и обертывал портянкой ногу.

— Что-то Андрей запропал. Долго ли корму дать? — обратился Денис в сторону хлопотавшей у печки старухи. Та не отвечала, да ответа и не потребовалось.

Дверь из сеней отворилась, и в избу вошел сын Дениса, Андрей. Андрей был высокий, крепкий юноша, почти мальчик. Красивое породистое лицо выражало уже не детскую энергию, но вместе с этим где-то в складках губ в нем сквозило отражение отцовской мягкости.

Войдя в избу, Андрей отряхнулся и обтер красное мокрое лицо.

— Ну и погода, — сказал он, снимая полушубок.

— Что, все несет? — спросил отец.

— Пуще вчерашнего, так и рвет. Свету вольного не видать. Дороги и следа нет.

— Избави Бог в такую непогоду в поле быть — занесет. Умрешь без покаяния.

— Худо. А я сейчас видал Прохора. Говорит, вечер к Игнатию кто-то с Москвы пришел с вестями, и с худыми, от наших. Что принес, доподлинно не слыхал. А только, говорит, дурные вести.

— Хорошим откуда и быть. Озлились бесовы дети.

— Худо. И так, почитай, всех защитников правой веры перебили: либо на кострах сожгли, либо в тюрьмах сгноили, кого и теперь всё гноят, либо в монастырях своих нечестью учат. Худо... Немного остается верных рабов Божиих, скоро и семени их не останется, кажись.

— Не попустит Господь. Не погибнет вера, небось. Не смущайся, сынок. На время искушение послал Бог, чтобы изведать, крепка ли у людей вера. Не все зима. И лето будет...

— Не попустит? Знаю... Скажу тебе, отец, как на духу: видение мне было ночесью. Дивно и страшно. Стою будто я на площади, а посередине площади стоит большой дивной красоты храм. Кучи народа входят в храм, крестясь по-старому, как

Господь велел. Вошел вместе с народом и я. Внутри храм был еще лепее, нежели снаружи. Все блестело, как золото. Иконы старые, темные, прежних новгородских писем. С клиросов дивное ангельское пение слышно: я стоял точно на небе у Престола Господня, в трепете и радости и молился. И вдруг богослужение оборвали. В церковь въехала на конях куча пьяных всадников в христианской одежде и с бранью, с крикам стали бить и рубить саблями богомольцев. Богомольцы побежали вон. А начальник всадников на коне въехал на амвон и совершил такое, что страшно и сказать: он слез с коня, растворил царские ворота и, взяв с престола чашу со Святыми Дарами, вылил их под ноги лошади, а сам сел на престол и стал кричать на своих приспешников.

— Постой, Андрей, что ты это рассказываешь, — перебил Денис, — ведь, кажись, ты мне уж читал такое. Кажись, про то, как рыцари римские осквернили храм Премудрости Божией в Цареграде.

Андрей с изумлением взглянул на отца.

— Да, верно, — задумчиво отозвался он, — похоже было, только церковь-то была наша и люди, говорю, были одеты по-нашему. Ну вот... Я со всеми вместе бежал и стал поодаль. И видел я, как вытаскивали из церкви мертвого священника и сотни богомольцев. Потом выехали из церкви пьяные кощунники и убийцы и стали громить церковь снаружи. Скоро огромная высокая церковь подалась и упала. Злодеи разломали и разбили иконы и церковную уварь. От дома Божия осталась куча развалин, красных от крови мучеников. Я закрыл лицо руками, повалился и плакал от горя и страха. Когда я поднял голову, кощунников уже не было. Я взглянул на развалины и опять слезы навернулись на глаза. Взглянул на трупы, и сердце не то от скорби, не то от радости задрожало: святые тела светились: точно невидимые свечечки горели над каждым.

И вот чудо: невидимые руки начали созидать новый храм над трупами мучеников. И на моих глазах вырос храм среди дремучего леса. Церковь была маленькая, деревянная, но вся окруженная светом, и кругом избы, да башенки. И казалось, точно это крепость верных Божиих, укрывшихся от дьявола.

А потом скрылся этот храм и я увидел другой, великий и богатый, похожий на тот, что видел раньше. Двери его были закрыты, запечатаны. Но вот печать снята, двери отверзлись и солнце, точно золотом, облило все: и святые иконы, и тысячи богомольцев, которые взялись неведомо откуда. И среди них видел я батюшку Аввакума и владыку Павла в сиянии светлом. И слышу я голос, говорит, кажись, Аввакум: «Уразумей сей сон и пойми знамение Господне. Минет и зима, и снова лето хочет быти. Сам Господь воздвигнет гонение на гонителей Его и восстановит и укрепит свою Церковь». Проснулся я и верю видению: верю в Его помощь — не меньше, чем ты, батюшка. Только...

Андрей остановился.

Денис смотрел на сына почти с испугом: его простой душе была непонятна горящая мистическая душа сына.

— Ну вот, видишь, — только и нашелся он сказать

— Да, вижу... Только говорю, батюшка, что далеко еще, далеко. Верить, что вера истинная не погибнет — хорошо. Но худо, когда мы одной-то надеждой и живем, а сами и пальцем не тронем — все ждем, что с неба само упадет нам. Ведь не руками же ангельскими впрямь выстроен будет храм в лесу. Нам указано в леса бежать. Теперь никониане всю Русь разгромили. И до нас добираются, скоро и здесь не будет нам покоя, загорятся срубы с живыми людьми и в наших потемках... Добро это: просветят, значит, нас, неверных. Ну, а потом что?.. Нужно спасать веру нашу. Вот и Игнатий говорит то же: нужно-де уходить дальше в леса, в трущобы прятаться. А мы сидим. Худо. Не велел ли нам Господь идти строить лесную-то крепость?

Денис давно привык считать своего парня умнее себя и редко решался с ним спорить. «Не по зубам он мне», — шутил обыкновенно старик. Но на этот раз он не согласился.

— Не то говоришь, Андрей, что уйти. Все мы уйдем с мира, оставим его во власти дьявольской? Это ли дело? Вот тебе Бог дал разум книжный, а мало ли таких, что не могут сами разобраться, где правда, где неправда... Правой руки от левой не различат. Уйдут умники-то, а с глупыми кто останется? Нет, сынок, не гоже это ты, кажись, задумал... Лучше подож-

120

дать на людях, что Бог пошлет, а пострадать за веру придется, с радостью страдания примем. Покамест не оскудеют пастыри и вера не погибнет.

Андрей взволновался. Упреки отца в том, что он думает только о своем спасении, задели его.

— Батюшка, не себя спасать хочу, не о себе думаю. О вере истинной думаю. О мире, о народе забота гонит в трущобы. Правду ты говоришь, пока будут пастыри и наставники, которые своим примером будут учить, не погибнет вера. Да наставников и учителей всех по острогам, по темницам рассадят. Ни одного разумного человека старой веры в покое не оставят. Кто же будет тогда учить? Кто укрепит народ в правой вере? То и худо. А народу нужно не одно научение словом, не один пример. Нужно не одно слово. Никониане ученостью народ запугали — ереси в старых книгах нашли. Нужно показать, что ересь не в старом, а в новом. Нужно и книги старые беречь да множить, а то, если не будет хороших книг, поневоле примут порченые. А где ж в мире, на глазах у никониан, ты все это наготовишь? Вот ты говоришь: ты-де человек книжный! А что я знаю? На что годен? знание-то Божие в пустыне дается, на послушании у мудрых. Может, и я миру послужу, да когда? Коли из моего скудного умишка, кто мудрее, «орган Господу» выкуют... Учители, наставники в миру нужны, да нужно, чтоб и на место старых наставников новые наступили. А где, живя в миру-то, научиться, чай, не у никониан. Слепец слепца поведет, оба упадут, и вера с неучеными учителями, с наставниками, когда они не умеют ответа дать никонианскому попу, погибнет. Рассуди, батюшка, и сам поймешь, что нужно нам иметь прибежище, где бы никониане нас не достали. Пойми, не себя спасать хочу я, не о себе одном думаю.

Денис внимательно слушал сына, ласково взглядывая по временам ему в лицо.

Он не находил ответа и молчал. Слишком мудрен был для него его парень. Потом он надумал было, что сказать, и не успел.

Дверь в избу снова отворилась, и вошел гость — сосед. Он помолился, потом поздоровался с хозяевами.

— Что замолчали? — спросил гость, заметивший, что при его входе Денис оборвал речь. — Али помешал?

— Нет, Иван Парамоныч, таить нам нечего ни от кого. А кончили уж мы. Одно у нас — все насчет Игнатьевых речей толкуем и не толкуемся...

— Не вы одни об них толкуете. Слышал я, много смутил народу старец. В леса да гору, слышь, бежите. Антихрист-де идет.

Все замолчали.

Иван, видимо, что-то хотел сказать, и колебался.

— Я к тебе, сосед, с доукой, не дашь ли мучицы с пудовку, — наконец, решился он, — сам знаешь, у меня ноне ничего не родилось. Надьсь хотел в город съездить; зверья кое-что продать. Все бы алтын десять выручил, да вон какая подула. Куда тут повезешь?

— Чего там говорить, я знаю. В такую непогодь, вестимо, не поедешь. Бери, амбары не заперты, пойдешь домой — сам и насыпь.

— Спаси, Господи. А то уж у меня ни горстки не осталось.

— А что, дядя Иван, у старца у Игнатия ты нынче не был? К нему, слышь, пришли вчор с вестями, с Москвы. Не знаешь что? Чай все хуже? — спросил Андрей.

— Я от него сейчас. Он сам хотел иди к вам. Про сродника про вашего, про князя Андрея, хотел сказать.

— От Андрея есть что? — спросил Денис. — А не знаешь, что?

— Не от Андрея, а про Андрея. Слыхать-то я слышал, да не знаю, как тебе сказать. Не знай горе тебе, не знай и радость?

— Да что, что? — закричали и отец, и сын, — скорее говори.

— Князь Андрей приказал вам долго жить. Сам сжег себя в своей усадьбе. Не захотел принять никоновых новшеств и пошел на суд с Никоном к Господу. Сто, слышь, человек с ним в усадьбе сгорело.

Денис удивленно и испуганно слушал. Андрей, наоборот, точно радовался. Его лицо ожило, как тогда, когда он рассказывал о видении, и большие глубокие глаза вспыхнули.

— Слава, Тебе, Господи, — возбужденно заговорил он, — новый камень, крепкий, положил Ты в основание Церкви. Верю, Господи. Верю. Не упадет без пользы ни один волос с головы нашей. Каждая капля крови, пролитой во имя Твое, 122

укрепит Церковь нашу. На гробах мучеников созидает Ты Церковь истинно-Христову и, скрепленная святою кровью, крепка будет она. Начали люди строить храм... Начали...

Денис смотрел на него по-прежнему испуганно-изумленно.

— Господи, упокой душу раба Твоего Андрея, — перекрестился он и обратился к Ивану:

— А ты Расскажи-кося по-порядку, сосед, — как и когда сподобился Андрей принять кончину.

— Неча сказывать-то. Я больше ничего не слышал. Что знаю, все сказал. Да Игнатий сам хотел прийти скоро. Того и гляди он придет. Он все и расскажет. А я что — я ничего не знаю

Иван совсем смутился. Ему и не хотелось передавать Денису, для того²², конечно, что тяжелое известие, и неловко было отказываться.

Несколько времени все молчали.

Андрей и Денис сидели, опустив головы. Хотя они оба и думали, что смерть далеко не худший исход, однако сердце не хотело понимать, что лучше, что хуже, и даже Андрею, не смотря на его порыв, стало немного грустно.

«Вот и еще одного не стало. А какой был человек. И задаром погиб. Как не понимают царь, бояре, что всех лучших людей они так сгубят. Ведь, коли, кто за деньги от веры своей отрекся, — хуже того человека и не сыщешь. И за что гонят? Да, худо в миру».

Мысли Андрея оборвал Иван, которому давно хотелось уйти, но он не решался и сидел, поглядывая на дверь. Теперь ему слышались голоса, и он нашел выход.

— Ну вот, кажись, и Игнатий с кем-то. Его поспрошайте. А я пойду. Спаси, Христос, на неоставленьи.

Он простился и ушел.

Сейчас же вслед за Иваном дверь снова отворилась и в избу вошли, отряхиваясь от снега, Игнатий, старик среднего роста, худой с изможденным, желтым лицом, и трое крестьян-соседей: двое были еще юноши, сверстники Андрея.

Вошедшие помолились, поздоровались и старец Игнатий заговорил.

²² Здесь: потому.

— Ты, я чаю, слышал, брат, — сказал он Денису, — зачем пришел я к тебе. Сказывал Иван? Преставился раб Божий боярин Андрей.

— Слышал...

— Ты, брат, не кручинься. Не жалея, не плачь, а благодари Господа за то, что Он удостоил его честной кончины. Блажен извол его о Господе... Плакать и горевать нужно не об ушедших в мир горний, а о тех, что впали в соблазн, ибо они души свои погубили. Уделу же скончавшихся теперь, честно приявших смерть, многие позавидуют. Близится, видно, конец мира сего. Вечор получил я вести с Москвы. Христиане покидают братьей своих: страха ради никонианства, из-за прельщения благ земных и почестей, отступили уже многие от закона Христова. Крепкие же в вере томятся в железках острогам, скитаются в Сибири, по их монастырям научения ради натыканы, и не мало в срубках и от меча смерть прияша — венец мученический.

Спасаться надо. «Оставшиеся да бежат в горы», сказано... Бегите, братие, в леса, где укрылись от зверя немногие учителя веры правой — иноки соловецкие и беглецы московские.

Бегите, чтобы спастись от власти антихристовой. Антихрист близ, при дверех... И уже видны открытому оку знамения врага Сына Человеческого — грядет уже он на погибель мира...

Одно осталось: кто пожил — своим изволом смерть приять. А всем, у кого силы есть, бежать надо на полночь, там столпы древнецерковного благочестия, их же соблюл Господь для бережения веры отеческой.

Придет девяносто седьмой год, и Христос придет на суд. А Илии и Еноха не будет²³.

Игнатий стоял посреди избы. Его невысокая фигура выпрямилась, бледные щеки покрылись легким румянцем. Горящий напряженный взгляд больших серых глаз был устремлен куда-то в даль, за пределы этого мира, как будто Игнатий видел во-

²³ Ефросин: „Отразительное писание против новоизобретенного пути самоубийственных смертей». 1691 г.: «Догматство Игнатия и Емельяна. Повенецкого с Козьмою Косым согласно было на сто девяносто седьмой год свету будет представление, а Илия де и Энох не будут никогда, а ныне-де на Москве царствует Титин».

очию те знамения антихриста, о которых он говорил. Голос его принял какой-то особенный, вдохновенный оттенок. И всем: и видом вдохновенного лица, окруженного сиянием серебристо-белых волос, и звуками голоса старец напоминал ветхозаветного пророка, проповедующего о судьбах мира.

Старец продолжал говорить все с большим и с большим воодушевлением. И слушатели, кроме Андрея, с жадностью, не отрывая глаз от его лица, внимали каждому слову.

Он слушал внимательно, но иногда как будто со скрытым неодобрением.

— Бежать, — закончил Игнатий, — скорее бежать отсюда. Скоро в наших местах начнутся гонения и да посечется ветвь праведных до корня. Наше время после. Мы, старики, останемся здесь, мы только и можем умереть за Христа. А вы, молодые, уходите. Вон, и Никон, слышать, воскрес: во Пскове живет...²⁴. Уходите...

Павел, Иван Белоутов, Лука Федоров, слышь, готовы уйти. Ермил Прохоров, Семен Петров, Ларивон Иванов тоже уйдут. Надо бы и тебе, Андрей, идти...

Игнатий закончил...

Никто другой не начинал говорить. Все молчали, слушая завывания ветра в трубе.

Молчал и Андрей. Конец речи был очень по сердцу ему, но, вообще говоря, слова Игнатия, в сущности, не захватывали юношу, вызывали в нем чувство протеста. Что нужно идти в леса, он решил уже давно, и теперь в них не было для него ничего нового, а пламенные речи Игнатия о близком антихристе ему не нравились.

Было время, когда он относился к ним иначе, чем теперь. Андрей был мистик, но не мечтатель. С детства его захватила мысль о «Божьем деле», о борьбе за Господа. Родился он в самый разгар борьбы с Никоном и его делом. Около колыбели он чаще, чем сказки, слышал рассказы о «шише антихристовом», ополчившемся на Церковь, о мучениках, томящихся за Христово имя в подземных темницах, о пламенной

²⁴ Первоинновником легенды, что Никон «либо воскреснет, либо во Пскове живет...» был, кажется, дьячок Артемий (Отразительное писание...).

борьбе Аввакума. И его душа горела желанием пострадать за Крест Господень, помочь победе правой веры. Грамота, которую он усвоил легко и рано, дала ему в руки книгу. «Пролог», «Цветники», «Маргариты», «Житие св. Иоанна Кушника» и «Алексия, человека Божия» особенно очаровали его душу. Эти люди ради Евангелия, «которое их звало от мира», оценившие в ничто все блага жизни, оставившие суету мирскую, чтобы быть для Господа, часто ночами звали его за собой. И он томился желанием подвига.

Но несмотря на это, в Андрее не было, повторяем, той мечтательности, которая влечет в «прекрасную пустыню», в уединение ради красоты уединения, ради одной только молитвы в тишине, наедине с Богом. Рядом с мистической наклонностью «беседовать со святыми» в молитве и за книгой в нем уживался деятель для мира: он решил, что должен стать работником для поруганной Церкви. Борьбаться за правду старой веры. И пустыня грезилась ему именно как «крепость», из которой сильные выйдут, как Антоний Великий, мудрые и готовые в «шум городов» против новых ариан. Соловецкий инок Игнатий с своими речами о близком антихристе сначала повлиял было на юношу. Не раз беседовали они на берегу Тогозера, и Андрею чудился «зверь из бездны», идущий со всеми силами ада на Церковь. И, подавленный ужасом, он склонился к мысли, что «слаще всего скорым путем в Царство Божие тещи», это — сжечься... Письма с именем любимого им Аввакума, призывания к самосожжению поддерживали экзальтацию. Но уже с год, как Андрей стал думать иначе, особенно с тех пор, как один инок покаялся ему, что подделывал письма Аввакума ради корысти...²⁵.

«Неладно что-то, — думалось Андрею, — антихрист пришел, так и миру конец... А вот от злого собора уж боле двадцати лет прошло. Коли антихрист пришел, то, конечно, гореть надо. Иного выхода нет... Но похоже ли на его царство?»

²⁵ Подложность некоторых писем священику Аввакума была доказана еще ранее 1691 года, когда появилось «Писание» Ефросина. Он уже пишет о целых поддельных письмах со слов инока Иосифа и о вставках в подлинны» письма Аввакума (Отразительное писание... С.89).

Вот и тайны святые еще есть. И литургия совершается по местам. Значит, не одолел еще враг. А коли так, не бежать нужно, а бороться, хранить святыню. Пока хоть «искорка теплится» — Христос жив, Церковь жива. Вот и Аввакум, хоть и сгорел «свечечкой Господу», но не было в нем уныния. И не клал он рук, а надеялся, что из его пепла огонь разгорится и Церковь взойдет из силы в силу... Значит, верил, что жива Церковь — Царство Христово... И Игнатий таин Христовых не бегаёт: ведомо, в Христове, а не антихристове царстве себя мыслит...»

И Андрей стал усиленно читать все, что мог достать об антихристе и царстве его: Толковый Апостол, Ипполитово слово. И каждая страница убеждала, что антихрист придет в неведомое время как человек, что признаков его царства еще нет. Пророчество Игнатия о пришествии Господнем в 7197 году, выдвинутое им незадолго до палеостровской великой гари, казалось ему сомнительным, а его речи о том, что в Москве царствует «Титин», слишком противоречили тому, что Андрей слышал от соловецких отцов, молившихся за царя до смерти. Самые его уговоры бежать рядом с пророчеством о близкой Кончине мира — были явным противоречием.

Но особенно оттолкнуло от Игнатия, как учителя, сожжение Игнатием и Емельяном книг церковных и даже икон: чтобы антихристу не достались²⁶.

Этот неразумный поступок нарождавшейся беспоповщины, конечно, казался преступлением такому любителю книг, как Андрей.

И Андрей, уважая Игнатия за чистоту его жизни и ревность по вере, любя его по-прежнему, не мог идти вслед за ним в его учении: слишком оно противоречило его деятельному, энергичному характеру и пламенному убеждению, что на месте разрушенных церквей *новый великий храм построится...*

И теперь ему хотелось вмешаться, сказать, что речи об антихристе не от Писания, что может только во славу Божию

²⁶ Сожгли: три Беседы, два Благовестника, три Недельных, Лествицы и Библии и т. д. (Отразительное послание.... С.69).



Острова на озере Онего

(Из книги М Пришвина «В краю непуганных птиц»)

гонение, хотелось рассказать о своем чудном сне, но мысль, что он слишком молод, что ему говорить непривычно, — останавливала его. И он молчал.

— Что ж, Андрей, — прервал молчание Иван Белоутов, — идешь, что ли?

Андрей покачал головой.

— Не могу я. Как я пойду без батюшкина благословения. А он не даст...

— Батюшка, — бросился он к отцу, — отпусти. Благослови, батюшка. Трудно здесь оставаться... Пouchиться хочу у отцов.

Денис колебался.

— Нет, сын, — наконец, решил, — не благословлю. Слышь, Игнатий о страшных годах молвит. Коли правду сказывает, хочу с детьми вкупе Господа встретить. Не проси... Пройдет седьмой год, тогда увидим...

Андрей печально опустил на скамью. Остальные молчали. Никому не приходило и в мысль перечить отцовской воле.

И только теперь старуха, не смеявшая вмешиваться в разговоры мужиков, решила подойти к сыну.

Проснувшаяся от разговоров Соломония плакала за печкой.

О чем? Она не понимала и сама: кажется, и ей мечталось уйти в «прекрасную пустыню».

Палеостровская гарь

Ивашка Дмитриев, теперь уже совсем настоящий мужик с большой рыжеватой бородой, с суровым обветренным лицом и с деловой походкой, торопливо идет по берегу «Онего». Любит он это озеро — «море олонецкое», где когда-то еще мальчишкой ловил перлы, жемчуг и бегал по берегу за ловцами. Любо оно ему и летом, когда разыграется от северного ветра и забелеет валами. И поздней весной, покрытое горами льда. И в такую пору, как теперь, в самом начале марта, когда озеро-море кажется таким полосатым от разрыхленных кое-где ранней водой краин озера и посиневших островных бережков.

Сейчас еще весне быть рано, только Иаков Постник; но все же в воздухе чувствовалась ее близость. И дышалось так хорошо, что, кажись, не ушел бы с воли. И если бы Ивашка не был занят какими-то особыми тайными мыслями, он соблазнился бы и сбегал на видневшийся корельский островок и на лов, половить для забавы какого-нибудь зверя, как когда-то раньше делал.

Но ему не до того... Скоро поселок, где поселился он после московских злоключений.

И он мысленно с своей Дарьей и белокурым Егоркой, которому уж шестой год пойдет с весны.

Еще два месяца назад ушел он на лов по «пропешенному» льду, «на ердань». Половил, слава Богу, заработал; теперь и отдохнуть можно. И ему чудится ласковый смех Егорки и радость Дарьи.

Только...

Ивашка нахмурился. Не нравится ему последнее время этот край; беспокойнее, чем на Москве стало. Нечего и говорить о гонениях, — что год, то хуже. Но еще хуже «новые нелепые глаголы», которые занесли некоторые суемудрые. Уже с год все Олонье волновало новое учение о необходимости «жечься» спасения ради. И Ивашка с досадой думает, что его брат Федор, что прибрел с Дону, и младший Алексей не только сбились, а и других сбивают.

«Худо, кабы греха не было», — думает Ивашка и ускоряет шаги, точно чувствуя, что беда близка.

Откуда взялось это безумие самосожжения? Общую почву нового безумия угадать нетрудно. Это, с одной стороны, общий экономический гнет, тягота непереносимых налогов, вызывавшая в населении своего рода психоз недовольства. Глубокая государственная неурядица, подготовившая и Разина, и отчаяние самоморельщиков. С другой — те меры обращения, какие применяет потерявший всякую меру Иоаким в отношении к «оканным двуперсникам». Разгром стрельцов, расчет с Хованскими развязал ему руки, и «святитель», по-видимому, в самом деле, в буквальном смысле, решил «выжечь плевела до корене».

Мы видели в отрывках знаменитые 12 статей Софьи, которые даже тех, «кто церкви покорение приносят и отца духовнаго и св. Таин причастится желать будут истинно», велят их, «исповедав и причастив, казнить смертью без всякого милосердия». Насколько широко должно было быть применение этих статей, показывают меры против тех, кто не доносил на «раскольщиков» хотя бы «спроста», «не разделяя их взглядов». Или пускал их к себе в дом, тоже *не зная о их убеждениях*.

«У которых людей, — говорила статья 9-я, — будут выняты раскольники, и они про раскол их *не ведали*, и на тех имать против тайной и разбойной статьи по пятидесяти рублей на человека». И коли «люди бедные ручались на раскольщиках в житье, не ведая про раскол их, вместо денежные пени ссылат в крайные города, и которья ручались, ведая, и тех ссылат в дальние города с жестоким наказанием».

Очевидно, что при этих условиях началась вакханалия доносов. Мелкие администраторы под грозой суровых кар должны были, забросив все дела, ловить «раскольщиков», тем более, что на вознаграждение ловцов — «на прогоны и в жалованье» — ассигновалось от казны, вернее, от продажи отнятых у старообрядцев дворов, вотчин, лавок, — «казны не малое число».

Некоторые ловкие чиновники нанимали даже особых сыщиков — провокаторов, которые из третьей части дохода разыскивали староверов и потом делали явку на себя и староверов «в раскольстве».

И в результате «езде чепи брячаху, везде тряски и хомуты никонову учению служаху, везде бичи и жезлие в крови испо-

веднической повседневно омочахуся. Проповедницы никоновых новин яростно и гневом и мучительством дышаху: битием и ранами, а не благодатию Христовой увещеваху. И от насилуваннаго мучительства облияхуся вси грады кровию. И утопаху в слезах села, веси и покрывахуся в плачи и в стенании пустыни и дебри...»

«Вся тварь стенаше и болезноваше и колебашеся...» (История Выговской пустыни. С.25).

В атмосфере таких гонений, среди звона цепей, в дыму многочисленных костров, зажженных «во славу Божию» Иоакимом, естественно было родиться ужасу безумия, красному смеху «великих гарей». В начале эти гари были, собственно, недобровольные. Они совершались в виду приближающихся мучителей. Это было «не догмат, не учение, а крайнее выражение борьбы с сильнейшей властью, следствие убеждения в своем же бессилии, в невозможности убежать от казни, средство уравнять свое бессилие пожертвованием личностей». Форма религиозного протеста, а больше всего способ избежать страшного для людей старой веры осквернения, «да не помажутся уста и утробы их лиянием силою новодействуемого причастия», — как писал автор «Истории Выговской пустыни»...

Получается известие, что идут подьячие, начальники с солдатами, понятые. И с ними апостолы с страшными «кляпами» и кощунственным «причастием». Что противопоставить силе? И гонимые собираются вместе в часовне, в церкви, в избе или в риге; загораживают себя бревнами, заборами, прокладывают везде смольем и соломою, запирают двери, окна, ворота, укрепляют их перекладинами, бревнами, крепкими задвижками и ожидают своих гонителей.

Только *при их появлении и только припадении их* зажигался бесчеловечный огонь, в котором погибали они с своими отцами, женами и детьми.

«Отойдите, — кричали они гонителям, — оставьте нас или мы сгорим!» Были случаи, что гонители отходили и самосожигатели не сожигались и оставляли свое намерение²⁷.

²⁷ Предисловие издателя «Истории Выговской пустыни».

Это были самосожжения по-своему законные и почти неизбежные в обстановке того времени.

И против таких «самосожжений» слабых людей, боявшихся не выдержать мучительства, пасть, действительно не возражал и Аввакум. Потом ужас рос и с ним росла мысль о конце мира.

А не в самом ли деле последние времена? Может быть, уже начинается... Может быть, горит уже небо и земля, а завтра архангел затрубит — и настанет страшный последний суд?

Загнанным и измученным стоятелям древней веры казалось, что вся вселенная содрогается, колеблется, погибает от диавола.

Он, этот диавол, «злокозненный, страшный черный змий» явился. И ловит верных, чтобы наложить на них свою печать, взять свою кабалу. Эта родившаяся из ужаса вера в антихриста скоро нашла своих пророков. Емельян Повенецкий и Игнатий Соловецкий проповедуют по всему северу царство «зверя», ему же имя число зверино. И призывают спастись от него «вольной смертью». Их сторонники подделывают письма Аввакума, чтобы подкрепить свои призывы к «огненной смерти» авторитетом великого мученика.

«О, братие и сестры! Радейте и не ослабевайте, — кричали они по деревням, — великий старец Аввакум благословляет и вечную вам память любезно воспевает; тецыте, тецыте, — да вси огнем згорите.

Приблизися-бо семо, старче, с седыми своими власы, проникни, о невесто, з девическою красотою, возри в сию книгу, священную тетрадь, еда мы вас мутим и отмановаем: зрите слог словес и чия рука, знайте; не буди нам вам лгати и на святыя клеветати: сие чертал великий Аввакум, славный страдалец, вторый по всем Павеле; се сие слово что, еже Святая его рука писала». И «старец, взирая, слезы ронит; отроковица, смотря, сердце крушит».

Аввакум был авторитетом, перед которым смолкали все возражения. Он сказал — значит, твердо — как Евангелие.

А в придачу проповедь новых учителей подкрепляли юридические, еще чаще безумные, слова которых казались откровением свыше. Явились пророки и пророчицы, говорившие в 132

духе. Какая-то девка-дуравка бегала по селам и «выкликала» о необходимости самосожжения. Какой-то сновидец видел «сожженцев в светлом месте в венцах». И т.д.

На почве общего трепета перед антихристом все такие пророки находили богатую жатву.

Стали убивать себя всякими способами. Самоуморение — чуть ли не первый и не самый страшный вид самоубийственных смертей.

Некто Василий Волосатой говорит про себя: «Я-де с тысячу мучеников на тот свет пустил; в ямах и в пустых хороминах великим постом до смерти задержал».

Один старец имел особую «морильню» в Ветлужском лесу. Это было здание без окон и без дверей, «куда садимы были постники через потолок».

По целым *сотням* сажал старец насмертников, размещал их на полатах и по полу и затем запирали потолок. Пять-шесть сторожей с дубинами охраняли на всякий случай здание. «Через два дня заключенные, — рассказывает Ефросин, — просят у старца пищи, через четыре дня умоляют и с проклятием требуют утоления голода, через шесть и более дней умирают в страшных мучениях, проклиная и своих родителей, родивших их для такой ужасной смерти, и самый день своего рождения, произнося хулу даже на имя Господне».

Но старец неумолим: он уверен был, что исполняет спасительную миссию.

Кроме голодной смерти, было в ходу самоутопление, самозаклание.

Какой-то «старик Косма» утопился в реке Свири, а другой — в озере Ильмене, причем оба бросились в воду, вырвавшись из рук приставов.

Старец Иринарх благословил во Ржеве на самоутопление двух старух.

Один «раскольщик» зарезался ножом в новгородском приказе, другой, ведомый под конвоем в Олонец. Одна баба, не успев зажечься в решительную минуту, пырнула себя ножом по горлу. Некий поп Семен советовал всем своим при виде «мучителей» заколоться ножом и уверял, что и сам при виде «мучителей» ножом по чреву надвое «перемастерится».

Однако все такие случаи все же, кроме «самоморения», губили единицы.

Иное дело самосожжение. Здесь дело идет о десятках тысяч. Нет возможности даже приблизительно счесть всего числа самосожженцев.

Известно до сорока гарей, причем в сибирской гари (6 января 1679 г.) сгорело 1700; в двух палеостровских — около 4000 человек. В Олонецкой — 1000, в Пошехонской гари — 1680-х годов — «неции поведают четыре или пять тысяч», в Березовокой — 1000, в Кузьмо-Демьянских 1685 года *бесчисленное множество*, — «так что воздух исполняшеся смрады от сгоревших трупов». В нижегородских — несколько тысяч. В новгородских — «многия тысячи». Но зарегистрированы, конечно, далеко не все даже «великия гари».

Ивашка не предчувствовал, что безумие вольных смертей — первое, чем встретит его родное село. Когда он вышел на широкую дорогу, которая вела к его поселку, в версте от Палеострова, — его удивило поразительное зрелище. По дороге двигались сотни народа. Толпа, видимо, торопилась куда-то; волновалась, слышались возбужденные речи, истерические выкрики, плач. Ивашка с перепугу даже не спросил о причинах невиданного сборища и почти бегом пробежал оставшиеся две версты.

— Что это? Что за народ? — торопливо спрашивал он четверть часа спустя свою Дарью, даже не расцеловав Егорку, который неумело терся около отца.

— На подвиг идут... Игнатий зовет на красную смерть, ради Господа... Все идут, и мы идем... Кабы пришел попозже, не застал бы. Федор с Алешей там давно... давно...

Дарья говорила о смерти спокойно, как о деле решенном, да притом таком, что и разговаривать о нем нечего: «Само мол-де собою разумеется, что *нужно*». И мужа она встретила необычно, без радости: «Какие теперь мужья. До ласк ли, до разговоров». И Ивашка сам до того опешил, что молча взял на руки Егорку и пошел к Палеострову.

Поселок и монастырь были неузнаваемы. В десятую пятницу, на ярмарке, не бывает и в половину народа. На первый взгляд, было всего тысяч шесть, а то и больше. Площадь перед монастырем гудела от крика и плача. У часовенки, на повороте к монастырю, какой-то старец уговаривал бежать от прелести лукавого, от пагубы самовольной смерти.

Он говорил не волнуясь, точно на диспуте, иноку с толстой книгой в руках. Тот тоже отвечал деловито и спокойно, точно позади них не готовилось великое всесожжение.

— Новый-то выдумал путь грешный, христианам неведомый, — внушал старец. — Коли мы жизни нашей да телу хозяева, а не Господь. Не от Бога и не от отец новая самосжигательная прелесть, а от врага да гордости. Паче святых в учителя лезем. Вишь, тетрадки у них каки-то, а нам сказано: «Толку святых отец внимая, а не тетрадкам неизвестным день и ночь долбить». Лихо-де пришло время и кроме того нет нигде места, только в огонь да в воду и уходу, а того не видят Спасом реченного: «Не имут скончаться гради Израилевы, дондеже приидет Сын Человеческий». А толкование глаголет: «Не скончается вера христианская до скончания, т.е. до Христова пришествия». Древле беды жесточе были, да не давилися и не жглися... «Претерпевый до конца — той спасется». Сказано: «Исповедайте Мя пред человеки», а не огнем себя сожигайте. Гнев Божий на главу собирают, мняся службу приносить Богу.

— Коли мы от себя, — пробует возражать инок, — Аввакум, святой мученик, по сговору с Лазарем и со всеми отцы указал.

— И то ложь. Не быть Аввакуму такому делу потаковником. И тетради те не его. Я сам попадью Лазаря-священника, Домнину Михайловну, опрашивал, и она усты ко устам мне возвестила, яко между страдальцы такого совету не было, и те места в тетрадях Иосиф и Игнатий написали самовольством. Иосиф сам мне каялся. Ишь ты, отцы-де на самовольную смерть благословляют. Или Тимофея Александрийского не чел? Таких и «поминати не достоин». И не в дело говоришь.

— А св. Доминика да Марк Фраческий? А Манефа да Филинад? Да Дросида мученица, Софрония? Я, коли хошь, десятка три покажу.

— А все не к делу. Скудное Церкви не закон. И коли они от бесчества смерть прияли своей рукой, то дело иное. А на скудном Церковь не строится. А коли, — найди ты, сразу тысящи сожигались? Как получите спасение, коли, яко свинии, заперлись в свинарник, спяляете себя губительной смертью? Забыли: «Аз есмь с вами до скончания»²⁸.

Старца, однако, слушали всего пять-десять человек.

Толпа шла ближе к монастырю.

Плач, вопли, выкрики кликуш, бившихся в падучей, здесь переходили в сильный стон.

В одном месте мать с плачем уговаривала сына, мальчишку лет шести, «не бояться огня».

Вернее убеждала себя, что будет хорошо и ему, и ей, потому что ребенок еще ничего не понимал и только с любопытством смотрел на невиданное сборище.

— Не бойся, миленький, не бойся, родимый. Пойдем с батюшкой Игнатием. На том-то свету рубахи будут золотые, сапоги красные, а меду и орехов тебе — сколько душа хочет...

Ребенок досадливо старался вырваться из рук матери, его занимали странные хлопоты около монастыря.

Там ломали лестницы, забивали досками узкие окна храма, видневшегося из-за ограды.

Какой-то седенький старичишк (экклесиарх монастыря) распоряжался работами, расставляя по крыше шатрового храма бочщнки с порохом и связки смоленой пакли.

Гуще всего толпа была около самого монастыря.

Здесь, стоя на куче бревен, ораторствовал мужик лет 35, с горящими безумием глазами; а вблизи него, около обвет-

²⁸ Возражения старца взяты почти буквально из «Отразительного писания» Ефросина. Нужно, однако, сознаться, что хотя, конечно, в споре правда была не на стороне самосожигателей, но некоторые их аргументы по отношению к самосожжениям — в прямых целях не попасть в руки врагов — имели значительную убедительность. Укажу, например, справку из труда в защиту самосожжения Петра Прокопиева. В житии св. Анфима Никомидийского сказано, что «многие от верных, Христовой любовью разжегшися, сами себя в огонь вметаху». В житии Дросиды сказано: «Каждо от христиан, веры ради и любви Христовой, ввергают сами себя в пещь...» Конечно, заблуждение, несмотря на все справки, было заблуждением.

шавшего креста часовенки, парень лет двадцати двух, бледный, как смерть, весь лучившийся от внутреннего восторга.

— Федор, Алеша, — вскрикнул Ивашка. — Да, это были его брат и свояк. Дарьин брат, наш старый забытый знакомец.

Федор, видимо, пользовался особым авторитетом в толпе. Его речь звучала, «как у власть имущего».

— Всяк верный не развешивай ушей и не задумывайся, — проповедовал он, — гряди в огонь с дерзновением, Господа ради, постражди! Ныне нам от мучителей — огонь и дрова, земля и топор, нож и виселица; тамо же — ангельские песни и славословие, и хвала, и радование. Когда оживотворятся мертвые тела наши Духом Святым, что ребенок из брюха, вылезет паки из земли-матери. Пророки и праотцы не уйдут от искуса, всех святых лики пройдут реку огненную, — только мы свободны: то-де нам искус, что ныне сгорели; то нам река огненная, что сами в огонь.

Не убойтесь, милые... Страх невелик. До печи страх-от, а как в нее вошел, то и забыл все. Загорится, а ты и видишь Христа, и ангельские лики с Ним, вынимают душу из тела, а Христос — надежда. Сам благословляет и силу ей дает Божественную. И не тяжка тогда уже бывает, но яко восперена, туда же летает со ангелами, ровно птичка попархивает, рада, из темницы той, из тела вылетела. Вот пела до того, плакала: изведи из темницы душу мою, исповедатися имени Твоему. Ну, а то выплакала. Темница т а, говорит, в печи, а душа, яко бисер и яко злато чисто, возносится к Господу!²⁹

— Федя... Алеша, — снова окликнули Дарья и Иван. Федор посмотрел на них и, не оглядываясь, продолжал речь...

— Идем отсюда, Федя... Не спасенье здесь, гибель, — сто-нал Ивашка. — Алеша, миленький, хоть ты-то уйди.

Алексей, как будто очнувшись от сна, сделал было полшага к ним, но остановился.

— Не отдам уготовленного мне чертога, — истерически выкрикнул он и ухватился за перекладину креста, точно боясь, что его оторвут от сладкой смерти.

²⁹ Речь эта, взятая у Мережковского («Антихрист») по частям, заимствована из писем Аввакума, частью подложных, частью подлинных. — *прим. автора.*

— Идут, солдаты идут, — прокричал чей-то не то восторженный, не то отчаянный голос.

И толпа зашевелилась.

— В церкву идите, в монастырь, зажигаться пора, — заторопился старичок, торопя к смерти тем же самым тоном, каким он торопил ленивых к часам.

Ивашка стоял, колеблясь: он чувствовал, что пора уходить.

Многие из толпы кинулись уж к полуденной заставе, чтобы убежать от солдат, которые шли с полуночи (с севера).

— Ну, Дарьюшка, идем.

— Куда идем? — точно в забытии спрашивала та.

— Туда. Отсюда идем. Здесь нам делать нечего. Их не уведешь. Самим спастись надо от гибели.

Та снова кинулась было к брату, но толпа оттерла ее, и она покорно пошла за Ивашкой: все виденное и слышанное слишком подавило ее. Она на время забыла даже о своем решении умереть.

Вслед за ними снова сделал было движение и Алеша, но властная рука Федора остановила его, и Алешка со стоном опустился на снег.

Из монастыря неслось пение. Там обреченные отпевали себя: «Паки возврати мя в землю, от нея же взят бых...»

Алексей, очнувшись от короткого обморока, прислушался, не сразу понимая, где он и что с ним.

«В землю, от нея же взят бых...»

Он понял, а вместе слова панихиды сразу открыли перед ним то, чего он как-то не видел, что пропускал в своих мыслях — смерть, расставание с жизнью, со всем этим миром.

Федор склонил его на «мученичество», за которое его ждет небесное блаженство. И Алексей с радостью шел на «мученичество», за мечтами о будущем блаженстве, не думая о том, через что нужно пройти к нему.

Он был готов на подвиг — на мучения, на мучительную смерть. Но только теперь, когда нужно было встать и идти туда, где уже его отпевают, он увидел, что нужно «умереть» — уйти из жизни, покинуть мир, который он так любит.

А хор сожигателей пел:

«И желаемое отечество подаждь ми и раю паки сотвори мя жителя».

Алексей слушал, и страстная любовь к жизни воскресла в нем.

— Нет, Господи, не хочу я того отечества, не хочу... Оставь меня.. Он бросил взгляд кругом на темнеющий впереди лес, на кочковатую болотистую равнину, там, ниже села, на синее далеко вверху небо. И сразу почувствовал, как невыносимо близко и дорого все это. Он сроясь со всем, и было тяжело и так больно отрывать себя от него. Ему казалось непонятным, как может случиться, что он будет не видеть этого неба, этого леса. И вдруг захотелось встать и бежать из этой толпы безумных, от страшной домовины.

«Усопшия рабы своя покой, презря им вся согрешения».

— «Усопшия», и я со «усопшими».

Алексей почувствовал, что он уже бессилен и бежать. Все уже кончено, и ничем не спасешься... Этой панихидой по нем, живом, он приобщен уже к мертвым — вырван живой, сознающий это, из жизни. И это убивало в нем всякую силу, всякую способность бороться за свою жизнь и вливало в опустевшую душу серое отчаяние, безнадежное, но вместе протестующее. Как будто из-под задавленного, очарованного сознания пробивался дикий, но разумный инстинкт природы, стремящийся вырваться из-под чужой власти.

И в томлении обвел он взглядом остатки уже рассеявшейся толпы, ища помощи. Искал Ивана и Дарью.

Но всюду он видел одушевленные, горящие восторгом, который теперь ему казался ужасным, лица, и безнадежно опустил он голову вниз.

Все те, в которых он раньше видел страх смерти, желание убежать от нее и которых он так презирал за это, уже рассеялись, ушли «жить».

При последних лучах уходящего света земля стелилась голубоватым полотном и серыми тенями лежали на нем низкие кусты вереска и ольхи. Глаз, охватывая небольшой кусок ее, чувствовал, что она — кругом и необъятной волнистой гладью уходит в бесконечность.

Алексей смотрел, и вдруг чувства, которые мучили его душу, нашли выход во внезапной нежности к земле, кото-

рую он никогда уже больше не увидит. Он упал лицом на землю и начал целовать ее, глубоко впиваясь в рыхлый снег пальцами. И с каждой минутой волнуясь все больше и больше, он вдруг прижался к земле и громко, отчаянно зарыдал...

Федор стоял над ним, ожидал, когда он встанет.

Наконец он его окликнул.

— А, что? — очнулся Алексей.

— Пойдем, брат, пора. Вороги уж на селе.

Он взял Алексея за плечи обеими руками и, приподняв, легко поставил на ноги.

— Ну, пойдем, — потащил он его за руку к воротам монастыря. — Крепись, брат, — это враг соблазняет тебя, видя, что ускользает у него из рук кус. И всеми теперь он орудует, да стоим мы. Послужили бесу довольно. Пойдем.

Алексей шел, не слушая брата, и только жалким, ищущим помощи взглядом смотрел в лицо каждому, мимо кого они шли.

Они вошли чуть не последними.

Тотчас за ними задвинули засов, и сожженцы стали поспешно загораживать ворота досками, бочками, телегами и щитами из бревен. Была пора. Отряд человек в 500 уже подступил к воротам. Монастырский колокол зазвонил похоронным звоном.

В стенах монастыря все переломано. Все по-новому. Кроме старой ограды из вековых сосен, выстроена была новая высокая стена, почти вплотную окружавшая соборную церковь «срубом», а в промежутки между стенами насыпана земля и камня. Огромные щиты из бревен кроме ворот защищали и входы в церковь, и окна.

Часть народа толпилась вне храма за второй стеной, большинство в самом храме.

Он был битком набит. Свечи еле мигали в спертom воздухе.

При первых ударах топоров о стены и выстрелах из пушек, поставленных на стену, в храме сразу смолкло пение и говор. Но ненадолго, через две-три минуты снова слышались вопли и печальное пение «панихиды по живым».



Самосожжение

И больно было слушать, как ликующими голосами пели они строгий печальный канон. Больнее, чем рыдания, сопровождающие обыкновенно этот канон: там уходил человек уже отживший свое, человек, которого Бог Сам призвал к себе. А здесь сильные, верующие люди, которые могли бы еще послужить на земле Богу, Его вере, сами хоронили себя, отказываясь от борьбы, предавая братьев своих их судьбе. Прозвучали последние слова канона и в срубе смолкло на минуту.

Застучали деревянным звуком выстрелы.

Но вот из сруба послышался негромкий крик:

— Зажигай!

Послышался треск зажигаемой пакли. Удушливый дым стал наполнять храм. Дерево уже начало потрескивать. Струйки дыма стали пробиваться наружу. Подул ветерок, и из оконниц показались языки пламени. Пение усилилось. Громче раздавались голоса.

Страшно и жалко: такая сила и вместе такая рожденная безнадёжностью боязнь борьбы. Все сильнее разгорается огонь, и шум пламени уже заглушает пение. Вот сквозь пение прорвался страшный женский крик. К окну бросилась высокая женская фигура с пылающей головой и, повернув наружу ужасное, изуродованное болью лицо, старалась вырваться из сруба. Но узкое отверстие не пропускало ее. И она застряла в нем, напрасно цепляясь руками за наружные бревна.

Наконец, изнутри ее оттащили обратно. Крики не смолкали, но они почти не были слышны среди треска и выстрелов деревянных пушек, которыми хотели разбить баррикады. Визгливо раздавался голос старичка:

— Не бойтесь, миленькие... Ничего... Не долго уж.

Игнатий с «новым», суровым лицом молился: «Призри Господи Боже, — передает эту молитву автор «Истории Выговской пустыни», — от святого жилища Твоего на нас, грешных и недостойных раб Твоих, собранных во имя Твое святое, за древлецерковное благочестие хотящих страдати. Видь, Владыко, беду нашу, се бо обыдоша нас врази наши, яко лютии, неукротимии зверие, и ищут нас всех погубити и поглотити и не вемы, что сотворити. Аще попустимся в руки их на муки здатися, якоже прочии клевети наши, страдавшия за имя

Твое святое, не боимся расхищения собранного толикого множества, да не будем сынове погибели: ибо руки вражия мучительства и томления орудия суть и готовы на пролитие крове, и на поругание христианства: мы же немощны есмы и слабы, и того ради не смеем к подлежащим мукам вдатися. Ты же, Господи, наш Владыко, Зиждителю и Творче небу и земли и всей твари, сотвори по своей всемогущей силе и по воли своей святой и призри на сие собранное Тебе, Доброму Пастырю, преследуемое ради имени Твоего стадо помилуй и спаси. И ими же веси судьбами укрепи и утверди, и мужественны покажи на огненное сие страдание: Тебе бо ради, Владыко, и имени Твоего святого страждем и предаемся огненному сему стремлению, вмени, Господи Человеколюбче, в мученическое страдание, ради немощи нашаея и с ними сочетаи царствию Своему небесному и со всеми святыми.

Аминь».

И как эхо этого «аминь» простонали коротким стоном падающие стены: взорвался порох.

Ивашка и Дарья торопились уйти.

Свежий, холодный, сильно уже отдающий морозом воздух немного успокоил их, и Ивашка, чувствуя себя спасшимся из смертной опасности, радостно любовался видом родных мест, к которым он так рвался и от которых теперь не знал куда бежать.

Было так хорошо. В воздухе распространялась какая-то особенная ясность и «теплота» и звонкость, какая бывает только в бессолнечные дни поздней осенью да ранней весной. Вот они спустились с пригорка и перед ними открылась болотистая равнина. В морозистом, немного туманном воздухе особенно четко выделялись все кустики, кочки, светящиеся прекрасным матовым блеском лужицы, окаймленные мягкой зеленью вереска, и огромные камни с зеленым мохом, кое-где выбившимся из-под снега, каждая камышинка, каждая тростинка, каждый предмет как будто выдвигался, лез вперед перед взглядом и пел Ивашке о жизни.

Путники быстро прошли болото и поднялись на высокий голый холм.

Здесь уже собралось около сотни беглецов.

В эту минуту ряд гулких взрывов встряхнул воздух.

Это взрывались бочата с порохом на крыше монастыря.

Наши беглецы оглянулись в сторону Палеострова. Монастырь виднелся вдали, как огромный багряный факел. И потом сразу как-то осел.

— Рухнула церковь, — догадался кто-то. Толпа перекрестилась.

Одна из женщин забилась на снегу в припадке. Потом вдруг поднялась и широкими пророческими глазами стала всматриваться вдаль.

— Смотрите... Смотрите... Вот... Игнатий с крестом. Одежда светлая. Идет в высоту к Господу. И по нем старцы и народ весь... Со свечами в ризах белых....

Вот двери неба отверзаются. Ангелы выходят навстречу.

— Видите... Видите...

Толпа смотрела и *видела*... Некоторые в ужасе упали ниц.

— Господи, венцы, венцы какие потеряли! — сокрушались кругом.

Среди толпы, совсем близко к Ивашке, стоял, возбужденно глядя на Палеостров, высокий юноша. Ему было не более 20-ти, но на бледном, аскетическом лице светилась большая мысль. При свете «великой гари» в нем, казалось, зрело какое-то твердое решение. Это был Андрей Денисов.

«Оное видение мнози человецы видеша», — рассказывает в своей «Истории Выговской пустыни» Филиппов. Он вообще идеализирует главных деятелей Палеостровской гари, Игнатия и Емельяна Повенецкого. И, конечно, если бы можно [было] считать молитву Игнатия подлинной, то мы имеем здесь в палеостровском сожжении настоящий сознательный подвиг, а не безумие испуганного жертвоприношения «замученных».

К сожалению, кажется, в данном случае нельзя верить Филиппову вполне и безусловно.

У выговцев, как увидим позже, были причины в своей «Хронике» изображать самосожжение в освещении чрезмерно идеалистическом, так как именно здесь, несмотря на взгляды Андрея Денисова, упрочилась, до известной степени, проповедь самосожжения даже без наличности прямой опас-

ности от гонителей. Здесь появилась апология самосожигательства Петра Прокопиева, и Филиппов, защищая взгляды своих, не мог быть беспристрастен в оценке самосожжения.

Кажется, вернее думать, что как ни понятна психика самосожигательства в XVII веке, это безумие было все же ближайшим результатом того великого заблуждения, какое внесли ревностные не по разуму поморяне своим учением об «антихристовой победе».

О царстве антихриста, пришедшего в мир.

Палеостровские гари есть вывод из этого опасного тезиса, а из ложного основания, конечно, не могло быть доброго вывода.

И, может быть, именно в это время «больших гарей» окончательно созрела и выросла у Андрея мысль противопоставить мнимоцарствующему антихристу — Христа во всей Его церковной силе.

Искать епископа

На пути к Выгу

Белая снежная пустыня, огромная, бесконечная — куда ни глянешь, всюду ровная, однообразная белая масса. Не на чем отдохнуть глазу: ни одного темного пятнышка — ни кустика, ни кочки. Только на самом краю горизонта, уже почти за гранью его, чернеется узкой неясной полоской лес. Высоко поднялось над равниной небо, в тон окружающему однообразно-бледное, только две волнистые полосы облаков и замутили его скучную гладь. Спокойствие безлюдного храма — молитвенная тишина царит в бесконечной, необозримой пустыне.

Однако равнина не так пуста, как это кажется с первого взгляда. Если присмотреться, то мы увидим на южном краю горизонта, против леса, две темные точки, как будто человеческие фигуры. Один за другим, одетые в полушубки и кафтаны с мешками и котомками за спиной, опираясь на палки, люди легко скользят по глубокому снегу на своих длинных лыжах. Это идут в «прекрасную пустыню» Андрей Денисов,

Вторушин-Мышецкий, и его товарищ Иван Белоутов. Шестой день уже, как они ушли из родного села неведомо куда. Нет ни дороги, ни следа человеческого, приходится самим прокладывать себе путь. «Лыжи убо вместо коней, кережу же вместо воза восприем, сам себе бывает и подвода, и извозчик, и слуга и господин, и вождь и водимый», — рассказывает об этом путешествии будущего главы Выга Филиппов.

Куда они шли?

Вел Андрей, но и сам вожатый не знал, куда идет, он знал только, что на Выге и по озерам живут спасшиеся из Соловок старцы.

Порасспросить хорошенько о дороге он не успел, боялся, чтобы не заподозрил побега отец, и теперь шел наугад. Да, пожалуй, и не хотелось идти прямо «на людей», тянуло к себе уединение, хоть ненадолго.

Путники спешили к лесу. Короткий зимний день кончался, мягкий голубоватый туман сумерек уже смягчал гнетущую пустоту равнины. А кругом не было никакого намека на жилие. Ночевать в открытом поле опасно, можно было замерзнуть. И они ускоряли шаги, чтоб до темноты попасть в лес.

Наконец, они дошли. В лесу как-то сразу стало теплее на душе, уютнее. Частые сосны окружили усталых мягкими, обвисшими ветвями. Перестал давить душу холодный тяжелый простор снежной степи. Глаз с удовольствием отдыхал после однообразия на свежей зеленой хвое. Андрей не углублялся в лес и, найдя возле опушки небольшую полянку, остановился.

— Ну, хорошо здесь?

— Чего разбирать — все хорошо. Только бы до места. Скидай тягу, да айда за дровами.

Они сбросили с себя мешки и котомки прямо в снег и, отвязав от пояса топоры, принялись обрубать нижние сухие ветви сосен. Скоро на полянке образовалась целая гора сучьев, и Иван, бросив топор, начал складывать посреди поляны костер, разрубая большие ветки на части. Сложив костер, он подсунул вниз мелких сухих веточек, достал из-за пояса кремь и огниво, вынул из кисета кусочек трута. Высек на трут искру и, подсунув тлеющий трут вниз, принялся раздувать трут. Сухие ветки быстро разгорелись. Слабый огонек потянулся тонень-

кими бледными языками вверх по ближайшим веткам, разрастаясь, краснея, побежал в сторону и, наконец, высунулся большим красным языком над всей кучей дров.

— Бросай работу, — крикнул Иван уже невидимому в темноте Андрею, — будет дров. Иди греться, да и поснедаем.

— Ого-о, — отозвался издали Андрей.

Через несколько минут путники сидели уже кругом огромного ярко пылавшего костра. Над огнем на палке, положенной на две подпорки, висело ведро с гречневой кашей. Сидели молча. Огогревали иззябшие, уставшие члены.

— Как-то у нас в деревне наши, — вдруг подумал вслух Иван.

— И неведомо. Худо придется. После Палеострова озверели никониане — угорели, должно, от Палеостровской гари.

— Слышать, и жечь надоело: одного старца солдаты утопили в Вогозере. Как в Соловках...

— Как в Соловках; я помню к нам на деревню тогда много приходило иноков, что уцелели. Что рассказывали — ужас слушать. Бывало у нас: слушают, а сами плачут.

— И к нам, — начал рассказывать Андрей, — пришли раз двое, я тогда был совсем махонький, а помню хорошо. Один был глупенький, людей боится: станет к нему кто подходить, а он заплачет и убежит; говорил много, а разобрать ничего нельзя. Другой монашек сказывал: с ним это от страху приключилось, его стрельцы топить хотели, уж окунули раз, да он вырвался. Сам-то ушел, а разум оставил. И много тогда порассказал нам монах: всего подлинно не помню. Думаю, после порасспросать, да записать. Одно у меня осталось в памяти: будто живых людей кучами в проруби толкали. Набьют прорубь битком, потом в это людское месиво еще бросят и еще, *чтобы-де уха наваристее была*. Монах рассказывает, а лицо у него не свое — белое, как полотно. Говорил-говорил, а потом как застонет — закрылся руками. Потом как закричит вдруг — и у рта пена. Свалился на пол и давай его бить, кричит и бьется об пол...

Товарищи замолчали и стали смотреть в огонь. Между тем, каша уже была готова, путники поели. Вырыли каждый себе возле костра углубление. Подбросили дров. И Иван улегся но-

гами к огню. Андрей не спал. Задумчиво смотрел он в чашу, где отблески костра рисовали странные, сказочные тени. И выплыло откуда-то родное село, детство. И ясно, отчетливо, точно на экране, прошел перед его глазами один эпизод этого детства, едва ли не определивший всю его жизнь.

...Ясное солнечное утро едва озолотило светлые воды Онежского озера. На берегу около красной заводи собралась кучка — больше все подростков и парней не старше 18 лет.

Это ловцы жемчуга. Ловля его здесь не «в промысле», а, скорее, в забаву, и взрослые ей занимаются. Четыре челнока отплыли от берега и остановились, ожидая, пока не выйдет вперед «вожак». На первое место выдвинулся челнок побольше других, на его корме сидел парень лет 18 — Кирюшка, большой приятель Андрея, хотя старше него года на четыре. Тут же были Андрей и Феня — невеста Кирюшки.

Кирюшка и был сегодня вожаком: должен был указать жемчужное место. Лодка Кирюшки быстро двинулась, за ней пошли и остальные искатели «бурмистских зерен». В остальных челноках сидело всего по двое: один на носу, другой на корме — и гребли с разных сторон короткими изогнутыми веслами.

Четыре парня и две девушки.

Вот и Кебунова Коса, заросшая мелким кустарником.

— Здесь! — крикнул Кирюшка.

Лодки остановились и широким кругом расположились около указанного места. Начали готовиться. Раздевшись, они привязывали к плечу небольшие личные сумки и обвязывались длинной веревкой: за нее тащили ловца, если с ним было неблагоприятно. Уши и нос заткнули провощенной куделью.

Кирюшка, перекрестясь, первый бросился в воду. Андрей и Феня сидели, слегка шевеля веслом, чтобы лодка стояла на месте, и следили за Кирюшкой. Вот Кирюшка выплыл.

Над бортом лодки показались две руки. Вылез осторожно в лодку, отдышался и начал опрастывать сумку. Феня ножом открывала раковины.

— Пустая, пустая, — недовольно бросила она их одна за другой.

На «вожака» послышались насмешки.

— Ну-ка, еще, благословясь! — крикнул Кирюшка и снова бросился в воду. Андрей не помнит, сколько раз спускался в воду его упрямый товарищ. Но конец лова — последний лаз Кирюшки. Его и сейчас видит Андрей, как и тогда. Кирюшка кинулся последний раз около самого берега, уже усталый, измученный. Пробыл он не дольше, чем всегда. Но у всех почему-то сердце екнуло и сжалось предчувствием беды. И минута показалась за пять. Наконец, Кирюшка стал подыматься.

— Идет, — радостно вскрикнула Феня, вытягивая веревку.

Накинув кафтан, Кирюшка несколько минут сидел молча, стараясь согреться. Андрей причалил к отмели. А Феня снова нетерпеливо взялась за раковины. Открыла одну: на блестящем перламутровом ложе, сияя томным опаловым блеском, лежала крупная, с горошину, жемчужина. Другую — то же. А Кирюшка с закрытыми глазами лежал на траве, запрокинувшись на спину, и жадно дышал, то часто и глубоко, всей грудью забирая воздух, то коротко и прерывисто.

Феня показала ему жемчуг. Кирюшка поднялся, по его лицу скользнула неясная, расплывчатая улыбка. И вдруг эта улыбка сменилась выражением страха, ужаса перед чем-то. Он широко раскрыл глаза и мутным, испуганным и недоумевающим взглядом водил по лицам Андрея и Фени. Он почти перестал дышать, только рот ловил воздух судорогами челюстей.

Феня подхватила его на руки. Вот он снова выпрямился, раскрыл рот, как будто хотел что-то сказать, и изо рта темными сгустками хлынула кровь. Кирюшка беспомощным взглядом остановился на лице Андрея. Кровь все текла, уже густой струей, и, ослабевая, Кирюшка опускался на руках у Фени. Наконец он совсем свалился, и только взгляд, уже спокойный, но страшный этим своим спокойствием, отчасти говорил, что есть еще жизнь в этой человеческой туше, из которой ручьем лилась кровь. Несколько вздрагиваний... судорожных движений ртом... и все кончилось для Кирюшки.

Андрей помнил, что лицо Кирюшки показалось ему невыносимо страшным, он бросился бежать, чтобы не видеть этих испу-

ганных глаз — этого жемчуга в крови... Долго, бежал он, не помя себя, не чувствуя усталости, не разбирая дороги. И одна мысль неотвязно стучала в мозу: «Жемчуг-то... в крови весь...»

Жемчуг-то...

И вот откуда-то он услышал голос «в ветре тонце»:

— Ищи себе доброго бисера... Ищи... Как купец, который нашел жемчужину на поле и продал все, чтобы купить поле это...

Кто это? Может быть, просто в мозгу выплыла страничка из Евангелия, которое Андрей знал наизусть? Может быть. Но нет, он слышал голос... По крайней мере, первые слова он не припомнил, а слышал. Обессиленный Андрей, наконец, не мог бежать дальше и опустился на траву на опушке березовой рощицы. И снова голос: «Ищи доброго бисера... Ищи».

Точно Самуил в ответ на зов Господа, Андрей в полузабытьи откликнулся Неведомому:

— Где этот бисер... Где? Укажи, Господи?

И тогда впервые он увидел это частое ему видение. Сквозь чашу берез, еще окутанных утренним туманом, он увидел обитель, обнесенную тыном, целый город подвижников среди дикой лесной целины...

Вот и теперь, он точно ждет откровения. И напряженно всматривается в причудливые тени, какие рисуют огни костра в темной чаше...

Да, да... Вот снова он — этот обнесенный «огородом» город.

Длинные ряды темных келий... Остроконечные верхи часовен... Ищите доброго бисера...

Кто это сказал?

Наутро, чуть рассвело, путники были уже на ногах и снова двинулись в путь. Все вперед, на северо-запад.

Лес растянулся далеко, день за днем шли Андрей с товарищем; все время перед их глазами стояла, постепенно отодвигаясь вперед, сплошная стена громадных темных стволов со свежей зеленью молодых деревьев. А над головами шумел все тот же зеленый бор.

Ночевали снова в лесу, и вторая ночевка была много труднее первой. До сих пор им каждый день попадались деревни и

они ночевали в тепле и ночевки около костра были им непривычны. Иззябнувшее и за дни, и за ночь, проведенную на снегу, тело ныло и ломило.

Но путники не роптали и шли и третий день и четвертый... и шестой...

В сущности, путники давно могли бы разыскать кого-нибудь из пустынных или поселиться в чьей-нибудь заброшенной келии, каких было немало в этом краю. Но они не хотели, им «жаждалось» подвига. И так «скитающиеся, ни стены, ни покрова от зимняя студени имущие, огненной точию приседяще нудии» два искателя спасения вели «самоозлобленное и богорадное оно житие» целую зиму. Только весной они выстроили себе келию между Тугозером и Белым озером. Гора была им сожительницей и ручей соседом. Началась другая жизнь, где молитва и бдение чередовались с тяжелым трудом пропитания ради, работа «на душу» соединялась с тяжелой борьбой с негостеприимной и суровой природой. Целыми месяцами пустынники не видели человека. С ними был только *Бог*, величественным храмом Которому были эти поднимающиеся к небу могучие сосны.

Было это в 7200, т.е. 1692 году. Целых пять лет Андрей боролся с желанием уйти, но любовь к отцу, привычка послушания мешали ему. Наконец, он не выдержал. Мысль, что «кто любит отца и мать паче Христа — недостоин Его», победила и заставила решиться...

И он «презирает дом и вся настоящая, яко не сущая уничтожает...»

Теперь Андрей уже был не юноша. Правда, и сейчас он очень молод, но уже не похож на того хрупкого и слабенького мечтателя, какой бежит из Палеострова. Он постарел за эти четыре года, по крайней мере, на десять лет. На Выг пришел уже «муж»³⁰.

³⁰ Год рождения Андрея Денисова трудно установить с полной точностью. В Изборнике «Народной газеты» (апрель 1906 г.) в биографии Братьев Денисовых указан год 1664. На портрете Андрея Денисова там же — 1674. Последняя цифра наиболее близка к истинной.

Нашествие «зверя»

Шел 1702 год.

Не много времени прошло со времени «богородного» странствования Андрея Денисова по лесам Олонецкого края. А сделалось за это время много. За эти годы сложился Выг.

Андрей немного прожил на Тагозере. Даниил Викулов, живший тогда на так называемой Рязани, убедил его поселиться в «единотрапезное и единоименное житие». Сюда же, в бывшие келии Емельяна Повенецкого, сгоревшего во время второй Палеостровской гари, собрались и еще «братья и сестры многи». Но и этому месту не суждено было стать Андреевой «духовной крепостью». Почти в одно время с Андреем, в лето от миротворения 7199, недалеко от Андрея и Даниила по р. Верхний Выг, укрываясь от преследований, поселился крестьянин Захарий с отцом, стариком Савватием, и с семейством, занимаясь земледелием. Берега реки Выг, хотя и сплошь покрытые еловым и сосновым лесом, были хороши для земледелия, «хлеб вельми растяше и суспеваше. На одном месте по три хлеба, по четыре на кряжах снимаше».

Однажды, на Святой, Захарию пришлось побывать у Даниила и Андрея. И тут ему пришла счастливая мысль звать их к себе на Выг. Возвратившись к отцу домой, Захарий рассказал про новое общежитие и о их замыслах. Старику не понравился этот план, но Захарий сумел уговорить его, и они уже вдвоем отправились к Даниле на лыжах. Гостей приняли с радостью, каждый день пели духовные стихи и после службы читали священные книги. Основатели выговского общежития не сразу сдались на убеждения Захария и решили для опыта послать на Выг 12 трудников: сечь деревья и посеять хлеб. Трудники сейчас же и отправились. Пока они работали на Выге, случилась беда: в общежитии сгорели все запасы и все постройки. Скитники увидели в этом несчастье перст Божий, тем более, что старец Корнилий, живший невдалеке, советовал идти к Захарию. Забрав с собой все, что осталось, все жители Даниловой келии отправились на Выг. С этого времени можно считать, в собственном смысле, начало великого Выга: октябрь 7203 (1695 года).



Даниил Викулович

Живо закипела постройка нового скита. Прежде всего поставили столовую и хлебную в одной связи, келии для мужчин и для женщин. Мужчины жили сначала в столовой, а женщины в хлебной. Богослужение совершалось также в столовой, причем посредине вешалась завеса, разделяющая мужчин и женщин. В это время скитников было около сорока человек. Но слух о новой обители быстро распространился, и общежитие стало расти. Вскоре сюда прибыл и отец Андрея Денисова с сыновьями,

Семеном и Иваном. Старых построек стало мало, выстроили новые келии, особо для мужчин и женщин. Между женскими келиями и мужскими поставили стену и в ней небольшую келию с окном, где могли бы видаться родственники; вокруг всего монастыря поставили ограду. Уставился «порядок и чин». Обитель зажила трудовой, подвижнической жизнью... Те, которые не могли вместить строго иноческого быта, удалялись в скиты.

В таком виде была северная обитель, когда донеслась до Выга неожиданная, страшная весть: «Зверь» идет... Антихрист...

Встрепенулась и вздрогнула от ужаса пустыня. «Он идет... Готовьтесь... Прииде час»... Ужас был понятен.

Через густые чащи пробивался «*помощью вражией*», как говорили выговцы, тот, самое имя которого север произносил только шопотом:

— Петр!

Это «шествие» по дебрям севера даже и не на запуганных стоятелей древней веры могло произвести впечатление.

И сейчас жив след грандиозного похода. В нескольких местах по так называемому Сумскому тракту стены леса вдруг расступаются, образуется широкая, заросшая лишь мелкими, чахлыми деревцами просека, которая «кажется в этой глухой, бесплодной местности следом громадного существа». Это и есть «Государева дорога», или «антихристов след». Петр шел по этим лесам и болотам с войском и *двумя фрегатами*, которые тащили по суку от самого Белого моря до озера Онего.

Это было во время шведской войны: Петр Великий во что бы то ни стало хотел отбить вход в Балтийское море из Финского залива.

Для этого пошел *по лесу с кораблями*. Флот прибыл сначала к усолью Нюхче, здесь корабли были разрушены, поставлены на полозья и к каждому было определено по 100 лошадей и подвозчиков и по 100 человек пеших. Путь шел к Повенцу через Выг. Главная переправа через Выг была всего в 50 верстах от Даниловского общежития. Здесь переходило войско по плавучему мосту из лодок и плотов. И выговцев вместе с другими «тянули на работу».

Но нужно помнить, что в это время уже широко распространилось мнение, что *последний антихрист именно Петр*. Уже ходили тетради Козьмы Андреева, в которых «лихо на Петра было все показано».

Дело казалось ясным. «Антихрист» пришел яве: «исполнилось трикратное шестичислие, в нем же противник Христу бывает». Но кому быть антихристу, как не Петру, образ которого после стрелецкого бунта был в сознании народа освещенным таким ярким и страшным светом.

— Он, воистину он, — разглагольствовал на Выге какой-то пришелец, сбжавший с работ по переправе, — ясно сказано: «Аще не приидет отступление прежде и откроется человек греха — сын погибели. Прежде прииде отступление царем Алексеем в 7174 лете, от Христа 1666, а потом по отступлении его скончалась царица Мария Ильинична и поя себе Наталью в брак законопреступный и роди сына погибельного. Сей родился, не имый в себе царского достояния и помазался на престол от Рима жидовски, по папешскому закону: от главы и до ногу... Яве светлее солнца — сын погибельный. И тому два года, слышь, собра он поганский синклит в первый день генваря и храм постави богу Янусу и чудеса творил через диавола под видом фавмазии».

Сказкам верили тем более, что и помимо сказок в действиях Петра было много, что должно было смущать христиан.

«Сей же есть малый рог глаголемый, сый двоеглавый и двоименный, сиречь Петр, противник Христов, явный и гордый князь мира сего. Сей может, по свидетельству Христову, нарицатися сатана в правду, по делам его бесовским. И Писание рече: яко во имя Симона — Петра имать сести гордый князь мира сего, антихрист. Тем же и сей, аще не Симон-Петр глаголется, но двоименен же, ибо Петр яве нарицается, аще и недостоин ему сый дела его сатанины; и Симон нарицается тайно, гордости ради и противления его Иисусу Христу и святым Его, и волхвования его ради бесовского всякого...»

— И то верно, — поддакивали другие. — И ныне, коли не фавмазия, по воде яко по суху идет. Да и то. Был у нас один в Петербурхе. Сказывал про тамошние чудеса: собрал-де он, Петр, беглых солдат, человек с двести и, поставя на колени,

велел побить до смерти из пушки. Экое стало ныне христианам ругательство. Слышь, и сам рубил головы, и в банках солил, как арбузы... Он, Петр, швед обменный, потому, догадывайся, делает Богу противно... посту не может воздержать и платье возлюбил шведское... и швед у него в набольших. И слышь, живет со шведкой... он — антихрист.

— А на Москву приехал, нет, чтобы к Иверской, а он в слободе к немке Анне...

И общий голос поддакивал.

— Ведомо, он антихрист...

Легко понять, какое смятение вызвало появление Петра в сердце пустыни с крылатыми кораблями на колесах.

Здесь почва для восприятия учения о Петре-антихристе была готова. Была готова и почва для самосжигательства. Сторонником самосожжения был уставщик Петр Прокопшин. «Считал его изволом о Господе» сам старец Данила Викулич. Иного мнения был Андрей. Несмотря на старания проф. Смирнова доказать, что и Андрей Денисов верил в пришествие антихриста, его сочинение «Об антихристе» вовсе не говорит за то, что он считал антихриста уже пришедшим. Да, он считает времена последними. Он ждет, считает возможным пришествие «противника». «Несть ино ничтоже прочее ожидать токмо соперника нашего, еже есть антихриста славу», — пишет он в «Слове об антихристе». «Отступление» последних дней кажется ему великим «потопом нечестия», какого до сих пор не было. Но он вовсе не верит, что враг уже пришел, и тем менее расположен видеть его в Петре. К концу жизни Андрей, кажется, усомнился и в близости антихристового царства. К сожалению, не Андрею в то время принадлежало господствующее влияние на Выге: он еще «молод», хотя это не помешало выбрать его, спустя несколько месяцев, в киновиархи. Старики были авторитетнее него, и не удивительно, что «толика боязнь и страх бяше на всей пустыни, яко готовяхуся уже вси к смерти и в монастыре уготовлено было смолье и солома, готовяхуся пострадать, т.е. огнем скончатися».

Страх оказался напрасным. «Зверь» не тронул. Когда Петру доложили, что он едет через центр староверческого пустынножительства, тот спросил:

- А подати платят?
- Платят, народ трудолюбивый.
- Пускай живут.

И проехал смирно.

Таким образом, шествие врага оказалось благополучным для пустыни. Правда, вскоре после этого вышел указ выговцам работать на железоделательных заводах по р. Повенчанке, и Выговская пустынь оказалась «под игом работ Его Императорского Величества и Повенецких заводов». Но эта работа обеспечивала свободу выговцам от притеснений, давала им право совершать службу по старым книгам. Вообще не была большим несчастьем. Неблагополучно окончилось путешествие царя только для нашего преследуемого судьбой Ивашки и его Дарьи, поселившихся вблизи Данилова на особь, в скиту.

Повесть zelo скорбна о женке Дарии, потопшей в озере

«...И бысть в те дни дело скорбно и слез многих достойно. Пришел на Выг посланец сатанин, имя его не вем, да и о делах коли бы не нужда, вещати бы не подобало. Проповедник души своей наветник и иным бедным истлитель. Нача улещать люди, особливо женок, горети, не дожидаячись врага. И многих ввел в соблазн, но Божией милостью не сгорели, не доспел до конца довести дело сатанино.

И была там одна женка немолодая, Ивашки Дмитриева жена. И сын у ей Игнашка. Подвижница была и постница. И душа добрая. Много в жизнь свою потерпела и не роптала, на Бога надеялась. Жила она на скиту: не восхотел Ивашка безбрачного жития и один из первых отошел на особь: старцы благословили.

И подольстился к ней враг. «Близкие-де твои венцы ухватили, а ты что медлишь». А у той два свояка да брат с Игнатием

сгорели. И она улещанию его поддалась и вольной смерти хотела, только мужа жалела и оттого мешкала. А здесь горе: едино мцы пойма ее растлитель, слуга врагов, когда она на озере мыла рубахи. И стал ее по иному улещати и ко злomu делу нудить. «Все-де огонь покроеет... По нынешнему делу-де не блуд — есть блуд, а брак блуд. То есть грех еще в вере блудить, а не телом дерзать...» И иное неподобное и несказуемое.

Оле безумия и злобы! Зрите, сожигатели, своих апостол дерзость и безумие... И еще говорил, яко жена, искушавшая Феодору: «Господь-де не видит в тайне творимое».

Дарья, помня завет Божий, моляше его отойти. А он, окаянный, не внимаше. И тогда Дарьяца, яко Домнина мученица, обрела себе путь. «Лучше-де тело погублю волею, неже отдам его греху. Не преломлю кольца моего венчального». И в тяге и муке отчаяния своего перекрестяся, в озеро кинулась.

— Господи, говорит, не вмени мне сего в грех... Прости.

Рассудише любве ради Христове более водою утопитесь, нежели вдатися беззаконному. И тако сконча жизнь. И была скорбь великая о бедной. И боле всего плакал муж ея, да парнишка по 13 году, Игнат. Оставил злодей дитя сиротой. И толи едва не разорвали люди того пророка. Данило Викулич того смертоубийства не попусти. Привели пакостника к нему, доброму старцу. Вышел Данило Викулич к столовой палате на двор.

Как Моисей, воистину гневный да темный от гнева праведного. Стар он уж был, но дубу подобен — крепок. Только на посох оперся. Сказал, развязать злодея того... И рукой указал ему путь.

— Иди... Каин... Нету тебе места среди братии. И будеши стеняти и трястися во вся дни. А вы, братия, — сказывал, — его не троньте. Не опорочьте места пустынного злой кровью. И за Каина, сказано, отомстится всемеро. А место сие обрекаю в пустошь. Кто живет, уходите. И заповедываю не селиться на пять верст кругом и пашни не пахать. Да будет пусто дьяволу в тревни его.

И земля эта не даст плода во веки...

Так рассудил. И то верно. И до сего дня никто не живет на том месте. И не только хлеб, но и сосна не растет: один мох. А Каин пошел от места того, но смерти не избыл. Коли шел



Выг озеро

(Из книги М. Пришвина: «В краю непуганных птиц»)

от озера Горельша, то ли обезумел он от стыда, то ли Господь разум отнял: вошел в самое болото, а люди как бы окаменели и помощи не дали.

И все видеша, как поглотила его бездна. И руки воздевал к небу в муке. И видно было его сперва по пояс, потом по перси.

Ивашка кинулся было к болоту, к злодею на помощь.

И се чудо: на месте гиблом и трепещущем устоял, как на камни. А Каина не спас: поглотил его болото.

И след его изгибл. Так восхоте Бог за его соблазн и нечестие. И отселе Ивашка не восхоте жить в мире и постриг его Пафнутий. Иоанникием нарекли. И доньне жив: подвижник великий и старец мудрый. А Данило с того дня не хотяше быть за «большака».

— Стар, — говорит, — я и хил. Не могу охранять от волков стада.

И поставили вместо него Андрея Дионисиева, сына Вторушина — «златыя уста». Было сие в лето семь тысяч двести осьмое.

Слышно было от братии после, что многия-де лета слышать с озера Горельиша звон колокольный. Тихо, тихо звонит и жалостно. А с болота вопль чей-то зело страшен, яко бы кто тонет или в иную гибель впаде. А вправду ли это, Бог весть Един. Може, душа того растлителя спокую себе не находит: многих погуби бесов сын...»

Эпилог

Устройство «Данилова»

Еще протекли 27 лет.

Тот, кто видел Выг во время Петрова наезда, не узнал бы его теперь. Много перенесла «пустыня» и процвела, «яко крин».

Первые годы были тяжелы для Выга: только что удалось кое-как устроиться, обзавестись всем необходимым для хозяйства, как тяжелая беда постигла Выг. Наступил голод. На Выгу почти крайний северный предел правильного земледелия, и урожай там целиком зависит от каприза погоды. Подует «морянка», т.е. ветер с моря, хватит во время налива зерна мороз — и весь урожай погибнет, это — «зяблые годы». А бывает, что хлеб до зимы не успеет вызреть, это — «зеленые годы». Такие годы были с 1705 по 1712 год. «Бысть глад... и зяблые и годы зеленые... хлеб не поспеваше и бысть велия хлебная скудость...»

Андрей даже поколебался и уже решил было идти к морю искать новых мест. Но отец его, Денис, прекратил эти колебания «пустою речью»:

— Живите, где отцы благословили и скончались, хотя и много ищешь и ходишь, да тут сорока кашу варила, таковское сие место по времени.

И решили остаться и терпеть.

Чтобы не умереть с голоду, построили повыше на Выгу мельницу — толчею для изготовления муки... «Толчаху солому и соснову кору и траву ядыху не малое время». Однако

даже и такой хлеб не всегда удавалось испечь: он часто рассыпался в печи и сор выметали оттуда помелом. Наконец, надумали для устранения такого рассыпания хлеба печь в берестных коробочках. «Такая скудность бысть тогда, что днем обедают, а ужинать нечего». И от такой великой нужды многие «с суземка съехаша». Выг, казалось, распадался и гиб.

Денисов стал искать выхода. Прежде всего, обобрали у всех, что у кого с миру принесено: деньги, монисты, платье. Андрей поехал на Волгу и частью купил хлеб («две гривны четверть»), частью выпросил в милостыню и отправил по Волге и Шексне в Выг. Это уменьшило нужду, но, конечно, не устранило ее в будущем.

Тогда Андрей нашел способ навсегда уничтожить самую возможность голодовок. С величайшей энергией пустынники начинают разыскивать себе удобной земли. Они побывали в Мезенском уезде, осмотрели Поморье, побывали в Сибири, побывали на «низу», т.е. в поволжских губерниях. Но на севере была такая же неудобная для земледелия земля, а на низ было слишком далеко. Наконец, нашли удобное место в Каргопольском уезде, на реке Чаженке, в 6 верстах за погостом Задняя Дуброва.

Землю осматривал сам Андрей Денисов. «Осмотреша с тамошними жителями и ся похвалиша, что оная земля к пашне вельми пристойна». Новгородскому губернатору Якову Корсакову написали прошение о желании приобрести эту землю. Тот назначил всеобщие торги, и когда все прочие от покупки земли отказались, она оставлена была за выговцами «на оброк».

Приобретенная земля по объему была такова, что «во все стороны» простиралась «на шестнадцать верст». Выговцы поставили здесь келии, и «начаша пашню пахати и скот держати; к лету для пашни начаша братию посылати с лошадьми, а зимою к дому отъезжающе, а тамо малые люди остающиеся для молоченья».

Голод был побежден.

Но Андрей не удовлетворился и этим. Одновременно с новой пашней Андрей отыскивал и другие средства обеспечить обитель. Еще во время «похода за хлебом» Андрей занял «из половины» денег у боголюбцев и стал чрез надежных людей

торговать хлебом, доставляя его с «низу» в Петербург. Торг быстро разросся, «и от того торгова начаша братству некое споможение чинити: по вся годы хлебные припасы к дому посылуху, чрез Вытегру водою в Пигматку; в то время на Вытегре распространяхуся хлебные торги и судовые промыслы, и бысть на Вытегре келии судовая и пристань в Вянгах».

Для торгу завели свой флот, «суда новоманерныя», и по многим городам открыли свои конторы, завели приказчиков.

Начали промышлять рыбой и ловлей зверей, доходя для лова даже до Новой Земли.

Благосостояние Выга выросло и упрочилось. «Всякое изобильство, — говорится в «Истории Выговской пустыни», — умножашеся и распространяшеся от пашень, и от торгов, и от морских промыслов, везде изобильствующе, скоту умножающуся, конские дворы коньми и кобылицами и жеребятими наполняхуся, и доилиц дворы опустеваху. Платье и обувь в обоих обителях изобильствующе, вся сия Вышняго Бога промыслом без всякой телесной нужды братство упокоевашеся. И видеша отцы над собою милосердие, посещение Божие, положиша залог: всех приходящих гостей, и приезжих, и нищих, и странных кормити без разбору, и бедным и нищим помогати во всяких нужных случаях. И в то время бысть в Олонецком, и Каргопольском, и Белоозерском уездах, и во всех окольных волостях, и в Лопских погостах хлебная скудость, и недород, и глад великий. Многие мирские нищие пойдоша в монастырь, овии на конех, и инии пеши по зимам, и скитахуся из монастыря в монастырь, и по скитам, просяще милостыню, и кормяшеся множество народа... И тогда бысть две дороги чрез монастырь: одна в Каргопольский уезд, а другая к морю. И начаша людие оными дорогами ездити, приставая к гостинной, и приказаша настоятели всех проезжих и нищих кормить без разбору».

Общежитие снова стало быстро расти. В 1706 году решили устроить отдельный скит для женщин. Место выбрали в 30 верстах от Данилова на реке Лексе. Выстроили келии, столовую, больницу и часовню и все обнесли оградой. Кроме того, были поставлены коровий двор и мельница с «мелеей и толччей». Для более тяжелых полевых работ на Лексу присылались трудники, которые жили за монастырской стеной.

Внутренний порядок уставили по выговскому чину. Вместо игумении назначили «начальную матку» — престарелую старицу Февронию, «строительницей» — матку Пелагею, казначеей — Екатерину Дементьевну, уставщиком церковным и «для ведения Божественного Писания» — Соломонию, сестру Андрея Денисова.

Сама Денисова обитель мало-помалу выросла в целый город. В нем было несколько сот жителей на пространстве 6—8 кв. верст. Вокруг него был вырыт глубокий ров и сделаны высокие ограды. Две высокие часовни с колокольной возвышались из множества простых, но прочных двух- и трехэтажных построек. Всех келий, т.е. вместительных изб на десять и более человек, было 51; кроме того, было 16 меньших изб, 15 амбаров, громадные погреба, две большие поварни, 12 сараев, 4 конных двора и 4 коровьих, гостиный двор и пять постоянных изб, 5 риг, две кузницы, меднолитейная, смолокурня, портняжная, сапожная, иконописная, рукодельная, мастерская для переписчиков и др. мастерские, две школы и две больницы. Затем были мельницы, кирпичные заводы. К этому центру тянулись разбросанные по «суземкам» многочисленные пашенные дворы и скиты. «Городок» жил чисто монастырским чином. Это была маленькая трудовая монастырская республика с строгим порядком и правильно организованным чиномначалием.

Главное решение всех дел принадлежало киновиарху, Андрею Денисову, который оставил за собой право даже выбирать членов выгорецкого «собора». Но формально обсуждение и решение всех дел принадлежало выгорецкому собору. В состав этого собора входили духовники, ектлесиаρχ, или уставщик, келарь, казначей и староста с выборными от скитов.

Для внешних дел существовали еще должности нарядника и городничего.

Келарь заведовал внутренним хозяйством общины, он должен был наблюдать четыре службы: трапезную, хлебную, поварную и больничную. Казначей должен был тщательно беречь все выговское имущество и, по уложению, смотреть на него, как на вещи, принадлежащие самому Богу. В кожевнях, в честной и портной швальнях, в медной и других “мастерс-

ких он же наблюдал за работами. В помощь казначею во всех мастерских были старосты. Казначей мог действовать только чрез старост, с другой стороны, и старосты не могли что-либо предпринимать без ведома казначея. Ведению и попечению нарядника подчинены были: земледелие, плотничество, ко瓦чество, рыболовство, возчество, молочение, мельницы, скотные двory и всякая домовая работа и работные люди. Он также действовал чрез выборных старост. Наконец, городничий обязан был иметь надзор над сторожами, над обеими гостиными, внешнею и внутреннею, наблюдать над входящими и отходящими странниками, посматривать за братиею при часовенных дворах, во время книжного чтения, в келиях и при трапезе. Кроме этих должностей, были стряпчие для сношения с официальным миром: на петровских заводах, в Олонце, в Новгороде, Москве и Петербурге.

Устав и «духовный», т.е. чин спасения, и мирской, по делам «земного» характера, был суров и строг. Еще когда в 1703 году просили Андрея на киновиаршество, он предложил братии как условие своего киновиаршества строгое соблюдение устава. «Чтоб ни един своего имени не имел (ни до подмедницы», причем за нарушение этого правила отцы духовные не разрешали бы без его, Андрея, «ведомости»; чтобы «после повечерни» повсюду соблюдалось полное молчание — в келиях и службах. Чтобы щегольского платья, шапок или других вещей члены Выговской общины не носили, с женским отделением «жили по святым отец уставом», с матерями и сестрами видались бы не часто, «особой пищи никому не иметь», есть только по две «выти» в день. Чтоб в праздничные и воскресные дни «к поучению, по чину, каков предастся», все были готовы. А если явятся преслушники и кого из них он, Денисов, будет наказывать, в том не возражали бы; с его же разрешения вели бы свое дело и отцы духовные, «как подобает на исповедь принимать, и где бы им иметь детей духовных». «Мирская хода, кроме братских потреб, отсечь, и в других келиях гостьбищам, по сродникам, не быть».

Эти суровые правила соблюдались строго. А ослушников смиряли «монастырским смирением»: чепью, шелепами, темницей и прочими казнями епитимийными. Строгость эта

не только не уменьшалась со временем, но даже возросла, когда некоторые из слабых, не имея сил понести пустынного бремени, выделились в скиты и там зажили с мамушками, де-тушками и люлечками, по пророчеству старца Корнилия.

Последние дни Андрея Денисова

В большой светлой келии киновиарха весело играет молодое весеннее солнце. Много света здесь в этой пустынной келии.

Постник и аскет, настоящий подвижник, Андрей в одном не умел и не хотел себе отказывать. Он любил простор и свет. И его келия, с широкими окнами по-норвежски, даже не похожа была на обычную, типичную келию наших северян.

Недаром автор «Извещения праведного» упрекнул выговского «большака» в том, что он «лучшал устраиваше себе». Он понимал, конечно, что этот простор и свет нужен был для Денисова, воспитанного на просторе лесов и полей, как воздух; нужен потому, что всегда волнующая, беспокойная мысль киновиарха не позволяла ему сидеть на одном месте, требовала движения. Недаром посреди келии выбилась целая дорожка от нервных шагов выговского «учителя». Обстановка келии тоже не была обычной. Только иконостас с темными, суровыми ликами, освещенными светом лампад, делал келию похожей на келию Даниила Викулыча или Петра Прокопыча — двух первых столпов выговской четверицы (четвертый столп — брат Андрея, Семен). Все остальное говорило, что здесь живет не обычный монах. Чертежи «космографии», карты стран «немецких и польских», какие-то невиданные инструменты. Огромная библиотека своими кожаными переплетами была как будто похожа на все монастырские библиотеки. Но кто рассмотрел бы книги поближе, тот увидел бы рядом с «маргаритами» и «цветниками» книги на неведомых языках: латинские, греческие, даже какие-то датская и итальянская. Трактаты киевских еретиков, Феофа-

на с братией. Суровый ревнитель, пожалуй, даже соблазнился бы, увидя этих «поганых».

Впрочем, книги и у Андрея уже с год в забросе. Архиктитору Выга не до них. Он чувствует, что не «жилец», что скоро оставит все: и эту библиотеку, и этот «мир суетный». И умирает он не спокойно. Не радостно. Не как пахарь, «до конца прошедый свою полосу, — на отдых идет». Казалось бы, как устроителю «северной крепости», Андрею желать нечего. Выг возвеличен и окреп. Его влияние распространяется на всю Русь. До двадцати скитов тяготели к Данилову на одном Поморье. И такого положения добилась эта монашеская республика в темное и тяжкое время.

История Данилова может заставить думать, что и там, «внутри», было старообрядчеству покойно и терпимо. Это будет большой ошибкой: спокойствие Данилова создано личным гением Андрея Денисова.

Петра вовсе нельзя назвать очень благосклонным к старообрядчеству. Мало того, в его политике вовсе не было той стойкости и планомерности, какую можно бы ждать от его гения: его взгляды на отношения к «раскольщикам» часто менялись. Злым гением его был Пителир, игумен переяславский, позже епископ нижегородский, — автор *поистине антихристианской теории*, изложенной в «Пращице». «Аще, — гласила эта изумительной откровенности теория, — в ветхозаветной Церкви непокорных повелено убивать, и кольми паче в новой благодати подобает наказанию и смерти предавати непокоряющихся... Понеже тамо сень, zde же *благодать*».

Этот «ревнитель» благодати сумел возбудить подозрения царя против старообрядчества. Он пугал огромным ростом старообрядчества, уверяя, что это-де народ *неблагонадежный*. «Все они благополучию государственному не радуются, но паче несчастию радуются, — писал он царю, — и всегда стремятся возвысить свой злой рог к обладанию на церковь и на гражданство; хотя они между собою и много несогласны, но на церковь все злобою согласны. Надлежит размножение остановить, чтоб нигде они не учили; а где станут раскольщики учить, хватать их и наказывать, а не худо учителей неявным промыслом смирить. Монахинь в лесу тысячи четыре будет: надлежит их всех взять в

166

монастырь, а пища им — хлеб да вода, а которые обратятся, тем подобающая пища, не многие останутся из них без обращения. Старцам, старицам и бельцам в лесах, полях, на погостах и по мирским домам никому жить не велеть под смертной казнию; а кому жить в лесу кельею вне монастыря — от архиерея писание возьми, и если так будет сделано, то раскольщикам из городов и уездов свозить будет некуда и постригать перестанут, только не надобно ослабевать. Беспоповщина твое царское имя в молитвах не поминают, а поповщина поминают только благородным, а благочестивым и благоверным не называют, церковь, догматы и таинства разными хулами хулят».

Внушения, конечно, действовали и фактически; по крайней мере, там, где властвовал Питирим, было не лучше, чем при Иоакиме. Тысячи гнили в тюрьмах. Многим «рваны ноздри», и [многие] посланы на галеры.

В 1718 году Питирим и Стефан Яворский отыскивали знаменитое «Деяние на Мартина еретика». Эту книгу, «плесенью аки сединою красящуюся и молием изъеденную», но написанную «по подчищенному почерком XVIII столетия», пустили в оборот как победоносный аргумент против староверов. И неверие в книгу, заведомо для всех подложную, стоило многим ноздрей и голов. Чтобы «истина ста, яко на твердом камени», отсекали голову неверовавшему в «Деяния» диакону Александру. Нижегородские тюрьмы были полны «супротивниками». Тесно было и в новгородских.

Для старообрядцев выдумали особый позорный костюм-кафтан, с клееным воротником, наложен двойной оклад, установлен сбор в пользу «православных» священников и т.д. Вообще терпимость Петра имела характер больше только *показной, декларативной*. Он, даже приказывая казнить диакона Александра, делал вид, что казнил его за то только, что тот «мимо выборного старца» подал заявление о недобровольном подписании им «доношения», т.е. отречения от так называемых «Дьяконовых ответов».

Несмотря на «терпимые» речи Петра, жить при нем было «жестко».

Только Выг умел ладить с властью и постепенно завоевывал все более и более прочное положение. По просьбе Андрея Де-

нисова с товарищи Меньшиков в 1711 году издал указ, чтоб «никто общежителям Андрею Денисову с товарищи и посланным от них обид и утешения и в вере помешательства отнюдь не чинили под опасением жестокого истязания». Потом Денисову позволено было рассылать своих людей для рыбной и звериной ловли, куда захочет. В 1714 году обители дали право давать «списки», т.е. паспорта «выговцам», уходящим на промыслы, чтобы им «не чинили помехи». Выг был освобожден от двойного оклада (наложенный в 1724 г. оклад продержался только год). Правда, Семен Денисов просидел четыре года в тюрьме, но здесь Петр давал «взятку» Иову новгородскому, который имел на него большое влияние.

Андрей мог бы, казалось, быть довольным: его видение стало действительностью. Среди лесов севера устроилась крепость, которая своей силой поддерживала старообрядчество от края до края Руси.

Выг стал своего рода академией всего старообрядчества. Андрей не удовлетворился тем, что обитель имела за собою «скрытые горы», «расхищенные леса», монастырские здания, благочестивую братскую жизнь, обширные связи при дворе и в самых отдаленных городах России.

Он хотел также раздвинуть и умственный горизонт своих одноверцев посредством систематического школьного образования. И сумел это сделать. Вот почему, когда материальное существование братии было более или менее обеспечено, он под видом купца проникает в самое сердце вражеского стана, рассадник ереси, — в киевскую академию, и там учится богословию, риторике, логике, проповедничеству под руководством самого Феофана Прокоповича.

И что сумел добыть Андрей, не погибло без следа вместе с ним. Он сумел создать свою богословскую школу, передал свои знания Семену и другим ученикам. В своих сочинениях оставил богатейшее наследство векам. И все-таки Андрей не чувствовал себя «свершившим дело свое», был беспокоен; и чем сильнее сознавал он, что недуг его берет силу, тем больше усиливалось смятение его духа...

Последние дни он места себе не находил и очень досталось бы дорожке, если бы Андрей мог держаться на ногах. Но уже

с 1725 года Андрей «нача часто изнемогати; часто болезнь гортанная и главная прихождаше». А с начала поста 1730 года он и совсем свалился с ног. Сегодня, 28 февраля, он почувствовал конец. Уже дал знать и на Лексу.

Андрей постарел... В сгорбленном истощенном старике трудно было и узнать бывшего Андрея Мышецкого. Только глаза по-прежнему молоды, и кажется, вся тревога сосредоточена в них.

— Как же? Как же быть? — то и дело вслух думает Андрей, ворочаясь на доске, служившей ему ложем. Его беспокоит давно одна мысль. Он чувствует, что религиозное положение его обители не прочно и не ладно. Не вполне «не зазорно», как говорил он. «Нельзя так жить», — давно решил он, — хотя в то же время постоянно старался убедить себя, *что можно*.

— Нужду послал Господь... Его воля... Не мы виновны. Но снова мысль: «Да, верно, по нужде-то, по нужде, но есть же на Ветке хоть поп».

Разве нет выхода? Искали ли мы его? И внутренний голос говорил ему, что он сделал не все.

— Гриша... Дай-ко письмо с Ветки. Там, рядом с чертежами, — обратился еле слышным, хриплым шопотом Андрей к молодому послушнику, сидевшему около стола с книгами.

Григорий подал связанные шнуром листы.

— Ну-ка, прочти еще то же... что вечер читал.

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Ведомо буди...»

— Читай, что отмечено.

«Пятое: «Да от вас же прияты иноки, иже от простых старцев пострижены, а не от священников, и те старцы у вас соборное начало держат: на трапезе хлебец Богородичен вынимают, и духовное дело творят, крестят, на покаяние приемлют, и воду Богоявленскую раздают, а овы из них постригают во иноки от своего образа»...

Шестое: «Совершаются у вас всеощные бдения чрез устав святых отец: понеже без священников, и без пяти все-



Андрей Дионисиевич

нощных хлебов, и без пшеницы, вина и масла, как имети устав повелевает...»

Андрей, чем-то отвлекшийся на минуту, вслушался.

— Не то взял, это от Федосеевых; рядом, *вон* то...

«От имени Господа нашего Исуса Христа... Смирение наше молит... Глаголют нецыи, яко несть ныне жертвы и приношения истиннаго и не обретается на земле жертвы, ниже священство. И таковая вещающии явственныя противники суть и развратники. Понеже Всемогущаго Бога силу они сводят в немощь и Его Божественную и творительную силу отъемлют от земли и Его пречистыя словеса в ложь сводят...»

— Истинно, истинно... Всемогущаго Бога силу сводят в не-

170

Симеон Дионисиевич

мощь, — точно про себя повторил Андрей.

«Привнидоша неуки, наскочиша на дела Божественныя и на ся восхитивши образ, не данный им от Бога, ниже возложенный архиерейским рукоположением. И начаша тайны церковные совершати: крещение и исповедание. А сие есть ересь Лютора Мартина, еретика: сие есть дело горши и самых тех нечестивых бесов...

Ужаснитеся вожди слепии... Како имати дати о стаде своем ответ перед Богом в день Страшнаго суда: се аз и дети, яже ми даде Бог, понеже дети приобщенныя плоти и крови. Коя вы приобщаетеся плоти... Когда сподобляетеся, коя святыни церковныя... Всего лишены есте...»

— Так, истинно..., — снова повторил архиктитор и глубоко задумался, опершись на локоть.

Его стол был завален посланиями федосеевцев, керженцев, с Ветки...

Андрей понимал, что все то, что писали, например, федосеевцы, — второстепенно и не важно — мелкая «волна небратолюбия и многораздирательное смущение».

И вместе с Петром Прокопьевым отвечал им пространно и умело, действуя их же оружием, то-есть упрекая и их в неподобных действиях.

«А у самих вас, егда мужа и жену крестите простые, а не священники, и егда они приживут детища, вы же, простые, и молитвами священническими очищати их не сумняетесь, еже в Божественном Писании такого смотрительнаго случая не видится».

«Да еще и сие различие признается в вас: неграмотные люди и простые за молитвы, по вашему велению, поклоны полагают, а кои сподоблены духовнаго дела, тии вышереченныя молитвы иерейския на нужныя людям потребы говорят». «И тем у вас, при простых людях, духовные аки бы священническую власть имеют...»

Возражая против федосеевских зазираний, Андрей, однако, глубже самих авторов обличительных посланий понимал то серьезное, что было скрыто в неумелых письмах даже федосеевцев.

Он понимал, что все, что он писал вместе с Петром, не то. Что все же в их возражениях, что в чине есть неподобное — правда, как была правда и в его зазираниях Федосеевцев. А послания с Керженца и Ветки затрагивали уже не мелочи, а самую суть учения о Церкви, и Андрей чувствовал, что он не может не признать их истины.

И его мучила мысль, что в самом деле он не может сказать Судие: «Се аз и дети мои...»³¹.

³¹ Интересно, что ответа на Керженец и Ветку, по-видимому, не было. В то же время на основании послания на Керженец чернецов Сергия, Феодосия и др. (7223 г.) можно утверждать, что «преизрядный муж Андрей» держался взгляда, что бегствующие рукоположенцы достойны всякого уважения, понеже «ради истинныя веры бегут и в никоих членах богословия не погрешают, наипаче же страждут за сие, дабы новин не прияти».

Особенно обострилась смута совести в Андрее так года три назад. На Ишкозере появился смутитель и обманщик, некто старец Кудря. Этот Кудря распустил слух, будто у него в пещере скрывается епископ, «которому сто двадцать лет, и при нем священник, и тому лет сто». «А живут в земле, никому не показываются, только ему единому». Несмотря на бессмыслие выдумки, к Кудре потянул народ. И тот раздавал хлебы священные, «а иногда и аки евхаристические частицы — вся же сия сам действуя».

Андрей хорошо понял, что было силой обманщика. Понял, что его выдумка потому и имеет успех, что *люди жаждут полноты церковной*. И кощунственная ложь Кудри была для него как бы упреком: в этом случае он увидел указание, что нужно искать не обманного, а истинного епископа.

«Может-де окончилось время испытания и пришло время?»

«О сем вкратце вам повемы, яко еретическая хиротония приятя есть правоверными. Правила донатския в «Кормчей» книге, в Матфеевой книге в 5-м составе. Житие св. Тарасия, да исповедание Василия Анкирского», — продолжал Григорий.

Но Андрей опять уже не слушал. Он давно знал наизусть все эти тревожившие его послания и, если заставлял их читать, то только потому, что нравилось бередить рану.

— Постой. Возьми-ка перо. Пиши, что я скажу...

— Ну...

«Боголюбезному и церковному радательному ревнителю Михаилу Ивановичу о Христе Иисусе радоватися. Ничто так в земных полезно и утешительно есть, яко мужи усердни о пользе, радательны о церковном устроении, тщательни о благоверных *незазорном* состоянии. Твое же братолюбие от юности до ныне в ревности благоверной и в усердии церковнаго состояния боголюбезно дышущее, якоже и в нынешний случай усердная твоя писания и известная о желаемых нам вещей тщательная показания по премногу нас утешают и благодарствовати твою любовь понуждают. Все у нас о обретении вещь, аще благоверно содеется и возможно будет надежно прияти, радеют и усердствуют. И ты, Господа ради, потрудись во всем по староцерковному чину и по опаству правильному. И Бога молим, да даст нам полезно и спасительно и бессомненно получитьи. А паче будет

как в радость, аще епископа обретеши нам единоверна и к вере нашей преклонна. Такого приемлют с радостию вси. Аз же грешный должно не увижу радости: течение мое скончах»³².

Андрей окончил. Он мысленно, казалось, перенесся туда, к Вышатину, следил за ним, за его странствием ради дела важности великия.

— О Господи... Как нашел. Жаждет, Господи, земля Твоя.

Михаил Иванович Вышатин, которому писалось письмо, был в это время в Палестине: он отъехал на поиски «вещи», какой и Андрей и все усердно радели, т.е. епископа.

В миссии Вышатина была вся надежда и упование Андрея. В последние годы Выг был в оживленной переписке с Веткой по вопросу о епископе. Решено было просить епископа у молдавской церкви.

Очень характерны для оценки взглядов тогдашней беспоповщины эти искания. Они показывают, насколько мало были *беспоповцами* тогдашние «поморцы» и федосеевцы, *как сильно было в них сознание необходимости священства и, если возможно, епископства*. Достаточно прочитать условия, на которых они искали у молдаван посвящения им епископа. Они соглашались (об этом свидетельствует подлинное письмо Андрея Денисова) на то, чтобы митрополит поставил им епископа, требуя только, дабы: 1) поставляемый был правого крещения, 2) чтобы поставление было в старообрядческом храме (на Ветке), 3) чтобы рукополагающий и рукополагаемый были благословящий и крестящий двумя перстами, также просфор седмица, 4) чин оного действия был по старым книгам. Да чтобы в исповеди от поставленного не требовали подчинения восточным патриархам.

Иначе сказать, поморцы соглашались, чтобы еретик поставил, *оставаясь еретиком*, епископа старообрядческого.

Планы получить епископа в Молдавии не удались. Но какой в них урок беспоповству позднейшего времени: оно, очевидно, потеряло выговскую жажду свв. таин церковных —

³² Из писем к Вышатину известно только, что Андрей писал ему «одобряющее послание». Приведенное письмо однако за исключением последних двух строк, — подлинное послание Андрея Леонтию Федосееву, хлопотавшему об епископе в Молдавии.

голод церковной полноты, — если решилось отвергнуть как ненужное обращение к старообрядчеству епископа и восстановление им, уже старообрядцем, правой иерархии. Можно представить, с какой готовностью принял бы Андрей Денисов с братиею епископа не такого, какого поставит *чужой* митрополит, а покаявшегося архиерея Божия?

План ветковцев, сказали мы, не удался; это не остановило Андрея. И вот теперь бродит по Палестине Вышатин, отыскивая архиерея. И близкая к смерти душа Андрея с трепетом следит за ним.

— Найдет ли... Господи.

Выг в тревоге

«Старец к себе зовет... Отходит, слышь..., — пронеслась пугающая весть.

И точно застыл Выг в ожидании страшного.

Да, Андрей близился к отходу. Он уже не говорил. Но глаза его жили. Дух еще был жив. Даже рука, которая не служила последние дни, ожила, точно повинувшись мощному последнему приказу. Темной чередой потянулись в келию Андрея старцы во главе с самым дряхлым Данилой Викулычем.

— Брат, или покинуть нас хочешь, — кинулся к Андрею Семен.

Тот остановил его по-прежнему властным жестом и что-то стал быстро писать... Все ждали...

— Кончил, — протягивает Семену.

Тот, не понимая, что делать, смущенно держит бумагу. Наконец понял, прочел первые слова и остановился.

— Да... Да, — закивал головой умирающий, давая знать, что нужно читать.

«Братия! Блюдайте веру... Заветы обители блюдайте... Да никто не уйдет от вас гладен и нищ. Для всех да будут отверсты входы. И на стороне не оставьте гладных в их гладе, на то и изобилие послал Бог.

«И еще молю: не устроена церковь наша, и красоты церковной не полна. И о сем скорблю. И кости мои покоя не найдут в гробе, покамест не увидят очи души моей святителя на престоле действующа Господню вечерю. Не оставляйте Михайла Иваныча письмами и помощью в святом деле. Не найдет — обойдите всю землю: моря и горы и да будет невеста Христова украшенной в красоту первую.

Сие будет... Чует душа: не покинет Церковь свою Господь... Аминь...»

Андрей приподнялся на постели. Он хочет что-то сказать.

— Слышите...

Как будто это слово сказали немые уста.

— Слышим. Будет. Исполним, — сквозь рыдания послышалось со всех сторон.

Андрей просветлел. Снова привстал. Смотрит куда-то вдаль, что-то видит страшное и тайное.

Да, видит. Вот опять «его» видение. Темная, темная двери... Закрыты... Запечатаны...

— Доколе, Господи?

Но, что это?.. Упали печати... Яркий луч света ворвался, позолотил пыль... Светлые лики святых в нимбе из лучей солнечных смотрят впереди с иконостаса... Да это — храм... И народ, много народа... Вот святитель в саккосе. Первостоятель... С клиросов несется старое пение.

С ужасом смотрит на Андрея собор. На его полные сладким ужасом и восторгом глаза. Кончилось, снова бессильно опустился на ложе архиктитор.

Несколько минут продолжалось молчание. И опять рука скользит по бумаге.

«Памятуйте слово мое... Даст Господь вождя народу своему. Вижду его по воле Господней... Буди сие... Буди... Ждите... Врата адовы не одолеют... Ныне отпускаеши раба Твоего...»

Рука перестала повиноваться.

— Отхожу... Молитесь...

Эти слова уже трудно было разобрать. Когда Семен взял рукопись, Андрей лежал обратившись к иконам.

Последнее крестное знамение. И... великого киновиарха Выговской пустыни не стало.

Тако скончася от мироздания 7238 лета, марта в первый день, в третью неделю святаго поста, в третий час дня. Всех лет жития его 56.

А в те же самые дни, как на сумрачном севере закатывалось «солнышко Выга», далеко на юге, всего в каких-нибудь десяти саженьях от того места, где серебряная звезда на мраморном помосте, освещенная лампадами, указывает место *Рождения Солнца Вечного, сияющего с высоты Востока*, в благодатном Вифлееме тихо отходил от жизни другой старец.

Инок Иоанникий, в мире Иоанн, спутник Михайлы Вышати-на, наш Ивашка Дмитриев. Судьба занесла его сюда, и северянину, выросшему среди сосен и моха, пришлось сложить свои кости среди маслин, гранат и виноградников. Спустился вечер... На плоской крыше небогатой странноприимницы ждал своего заката искатель «красоты и полноты церковной».

Тихо кругом. Воздух прозрачен и чист. И далеко, далеко видно вдаль. Вот небольшое здание с куполом, это — могила Рахили, жены Иакова.

Вон развалины Рамы, о которой писал пророк: «Глас в Раме слышен бысть, плач и вопль мног, Рахиль плачущися чад своих». Там, дальше, в долинах, бродил со стадами овыми царь Давыд, а на полях собирала колосья Руфь. А ближе, совсем близко — храм над вертепом. Там родился Тот, Кто утешил плачущую Рахиль — Церковь ветхозаветную, ставши Архиереем обновленной Церкви. Утешит ли Он скорбящую Рахиль старообрядческой Церкви? Даст ли архиерея?

Об этом «своими словами», конечно, думал угасающий старик.

— Ну как, отче? — обратился к нему только что вошедший Михайла Вышатин.

— Что? Гасну. Догорел. Слава Богу всяческих ради... А у тебя ничего нет?..

— Нет. Есть один святитель. Но сумнителен. К нам не идет, а поставить готов хоть сейчас...

— Это бы не ладно. Лучше подождем.

— Не наш этот. Верится мне, что когда найдем своего, его нам как волхвам Господь звездой укажет... Не нам, так внукам нашим.

— Верно, еще не у прииде час...



*Остатки Данилова монастыря.
(Из книги М. Пришвина: «В краю непуганных птиц»)*

Сразу, без сумерек, спустилось солнце. Яркая звездочка поднялась над вертепом.

— Вот она, *звездочка-то*, — указал Иоанникий.

Там родился Тот, Кто рек: «Созижду Церковь Мою и врата адовы не одолеют ей». Его ждали пять тысяч лет... И пришел и тенеты адовы расторг. Ныне Он отнял у нас часть славы своея за грехи наши. Его воля: придет время и снова оденется Церковь в пестрые ризы... Звездочка не угасла. Она укажет... Не зашло Солнце вечное...

К полуночи, когда закатилась за горизонт звездочка, угас и старец...

Конец

